

Мережковский Д. Лица filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Лица.

ИОСИФ ПИЛСУДСКИЙ[1].

Вы хотите, чтобы я рассказал мое впечатление от беседы с Начальником Государства. Боюсь, что это трудно будет сделать. Вот одна из тех минут, когда я чувствую себя плохим рассказчиком, плохим писателем. Да ведь и всегда главное в живой беседе, в слове изреченном – неизреченно; это главное есть внезапное чувство, волнение, улыбка, взгляд, молчание, молния, музыка. А как изобразить молнию, рассказать музыку?

Что же касается до деловой стороны беседы, может быть, важной и обильной последствиями, то я не хочу касаться ее, во-первых, потому, что не знаю, имею ли на то право, а во-вторых, потому, что я обращался к Иосифу Пилсудскому не как политический деятель к Начальнику Государства, а как человек к человеку.

Мне всегда казалось, что современная религия непоклонения Героям, неблагоговения перед великим, оплевания святого, неподчинения духовным властям, детского, рабского бунта есть главный источник современного хамства. Моя религия – противоположная. Ее завет гласит: нет на земле ничего более достойного поклонения, чем отблеск лика Божьего в лице человеческом, в Герое. Герой все еще, и в наши дни, как было древле, как будет всегда, есть непреложное Богоявление, Теофания.

Когда он вошел в комнату, на меня «повеяло веяние тихого ветра», о котором говорится в Третьей книге Царств; я сразу почувствовал: да, это Он, Герой, *ens realissimum*, «существо реальнейшее», как выразился Ницше о Наполеоне.

Я узнавал и не узнавал этот образ, повторяемый в изображениях бесчисленных: небольшую, коренастую фигуру Солдата и Рабочего, лицо то усталое, почти старое, то бессмертно юное; крутой, нависший, выпуклый лоб, изборожденный глубокими поперечными морщинами, как твердый камень – резцом ваятеля; крепко сжатые губы «великого молчальника», и под упрямо насупленными, торчащими рыжими бровями странно светлые глаза, то затуманенные, то опрозраченные, с неизъяснимым взглядом, смотрящим внутрь, ясновидящим. Я знал, что образ этот будет изваян, «вековечнее меди», резцом великого ваятеля, Истории.

Я начал говорить и не мог. Кажется, главное в волнении моем была неожиданность, удивление – удивление простоты. Я думал: будет величаво, торжественно, – и вот как просто.

В Бельведерском дворце – простая, тихая комната; простое, тихое небо в открытом окне, туманно-серое, над туманно-зелеными Лазенковскими кущами. И он – тихий, простой, как небо.

Я начал говорить по-французски. Он тотчас же свел на русскую речь.

– Вам удобнее так? – спросил с милой улыбкой.

Заговорил тихо – и я сразу утих. Точно век знакомы. Какая между нами бездна и какая близость! Друг. Брат.

О чем же мы говорили? Я бы не мог передать в кратких словах содержания полуторачасовой беседы и, если бы мог, повторяю, не хотел бы. Попытаюсь отметить только отдельные точки, звуки этой музыки, искры этого огня.

Нечаянную радостью было для меня то, что он все понимал с полуслова, с намека, с одного взгляда, улыбки, молчания.

Кажется, современные люди погибают не столько от глупости, недостатка ума, сколько от недостатка воображения, того сочувственного воображения сердца, которое в сердце вещей заглядывает глубже, чем самый зоркий ум. Я не сомневаюсь, что если бы люди, не те или другие, а просто люди, обитатели планеты Земля, могли вообразить то, что сейчас происходит на шестой части этой планеты, в России, то они этого ни минуты не вынесли бы и вдруг, все вместе кинулись бы и прекратили бы этот невообразимый ужас.

Вот этим-то даром воображения сердечного, даром «интуиции», «ясновидения»,

Мережковский Д. Лица filosoff.org
который Мицкевич считает главным даром славянского племени, Иосиф Пилсудский обладает в такой степени, как никто из современных политиков.

– Я – романтик и реалист в одинаковой степени, – определил он себя самого в беседе со мной как нельзя лучше.

Когда я рассказывал ему о большевицком ужасе, у меня было такое чувство, что он все уже знает, видит отсюда так же, как я это видел сам.

К моему рассказу прибавил только две черточки. Анекдот о бердичевском буржуе, спасенном от большевиков, который обновил галстух: «Подумайте только, подумайте, ведь два года не носил галстуха!» – чуть не заплакал несчастный. И еще рассказ об украинских кладбищах, о внезапно колосющихся жатвах новеньких крестиков по уходе большевиков.

– Но есть же и у России дно. Когда-нибудь дойдут до дна – провалятся...

– Бойтесь русского дна, господин Маршал: это дно бездны, а бездна втягивает. Бойтесь русского дна за Польшу и за Европу.

Он опять помолчал, и я понял что он так же видит дно, как я.

Речь зашла о реставрационном, погромном тыле Колчака, Юденича, Деникина.

– С русской реставрацией у Польши никакого соединения быть не может. Лучше все, чем это. Лучше большевизм! – воскликнул он с грозным гневом, и глаза его сверкнули.

Он говорил со страшною силою. Я почувствовал, что тут крепко, не потрясаемо. Я радовался; но как мне было уверить его, чем доказать, что не я один радуюсь, не я один чувствую так же, как он, а вся Россия?

– Что же нам делать, нам, полякам и вообще европейцам? – продолжал он спокойнее. – Нельзя от людей требовать гениальности; большинство – люди среднего здравого смысла; на них и опирается всякая политика. Они верят тому, что видят, а видят они только две России – старую, царскую, и новую, большевицкую. Надо было сделать выбор между этими двумя Россиями, потому что третьей нет...

– Есть.

– Где же, где? Мы только ее и хотим и ищем. Укажите же, где она?

Что мне было ответить, на что указать? На русский Париж, Лондон, Берлин? Кого назвать? Милюкова, Маклакова, Сазонова, Керенского?

Я вспомнил «колосющуюся» жатву новеньких крестиков и ответил:

– Третья Россия не здесь, а там, в России.

– Вы это знаете? Верите?

– Верю.

Мне стало страшно: что, если он покачает головой и скажет тихо и просто: «А я не верю». Но он отвернулся молча и посмотрел в открытое окно простыми, тихими глазами на простое, тихое небо. И я вздохнул свободнее: пусть еще не верит – может поверит.

Тут началась главная часть беседы – о том, что надо делать для «третьей России». Этого повторять не буду, скажу одно: что бы ни говорили о нем, Иосиф Пилсудский не враг России. У него нет камня за пазухой. Это я говорю для всех, а для меня он больше, чем то, что я о нем сейчас говорю. Хотя бы сорок тысяч Миноров, Зензиновых, Керенских уверяли меня, что в таком разговоре я «предал» Россию, я не поверю им.

– Я не знаю, кто кому сейчас нужнее, вы нам, или мы вам, – воскликнул я в пылу беседы.

Теперь, издали, я понимаю, что это могло показаться почти дерзким: так мы слабы, так «не существуем», по видимости. Но тогда это было не дерзко, а

только искренне. И, кажется, он понял, что за видимостью есть иное, большее.

Он много расспрашивал о генерале Брусилове и о новом «патриотическом» духе красной армии. И опять понял то, что так трудно, почти невозможно понять человеку нерусскому – самую бессмысленную из русских бессмыслиц – Интернационал «национальный» русских солдат-коммунистов, героев «похабного» Брестского мира, идущих помирать под знаменами Бронштейна-Троцкого за Святую Русь. Понял, что и это возможно в «стране безграничных возможностей». Деловое острие беседы и заключалось в том, как отразить эту опасность, может быть, для Польши и России величайшую. Что тут уже Россия и Польша – вместе, он тоже понял.

Я назвал Бориса Савинкова, как единственного сейчас русского человека в Европе, способного что-нибудь сделать для «третьей» России. Мне трудно было говорить о Савинкове: он мой друг многолетний, человек слишком мне близкий. Но только что я заговорил, как почувствовал, что собеседник мой думает о нем почти так же, как я.

Вот, кажется, все, что я могу сообщить о деловой части беседы. Я сознаю, как от этих умолчаний тускнеют мои впечатления и отраженный в них образ. Но я надеюсь, что когда-нибудь еще вернусь к нему: забыть его нельзя – он в памяти моей, в сердце моем неизгладим на веки веков.

Еще одна последняя черта: без нее этот образ был бы слишком неполон.

Говоря по поводу Савинкова о значении одинокой творческой личности в судьбах народа, я сослался на него самого, Иосифа Пилсудского.

– Вы создали Польшу, вы могли бы сказать: Польша – это я.

– Вы думаете? – усмехнулся он горькой усмешкой. – А знаете, что бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще борюсь с Польшей, что я против Польши. Я человек достаточно сильный, но иногда и я слабею...

Вдруг опять, как в первую минуту свидания, на меня повеяло «вевание тихого ветра». Только теперь, когда он говорил о своей слабости, я почувствовал, как он силен не своею силою: «В немощи сила Моя совершается». Только теперь я почувствовал, что передо мной избранник Божий.

Да, я говорю это всем, так же, как ему сказал! О, я знаю, как трудно и страшно это сказать о человеке, особенно в наши дни, когда «великие люди», «избранники» – чьи? – Ленины, Троцкие! Я знаю, какие горящие угли соберу на свою голову, какие насмешки над моей ребяческой наивностью, но я все-таки скажу: Ленины, Троцкие – не великие люди, а великие ничтожества.

Человек – мера вещей. А мера человека что? Если не Бог, то диавол. Подражание Богу – творчество; разрушение – подражание диаволу. Мы уже давно забыли Бога и мерим человека мерой диавола. По этой мере велик венчанный шут, сжигающий Рим; велик Чингисхан со своей дикою ордою или «с телеграфами, телефонами»; велик пьяный матрос, взрывающий окурком пороховой погреб. Но, по мере Божьей, это все – ничтожества; по мере Божьей, уничтожить солнце – меньшее дело, чем сотворить атом, разрушить мир – меньшее дело, чем былинку вырастить. Мы забыли Бога и разучились поклоняться героям, богоявлениям в человечестве, «существам реальнейшим» – вот почему поклонились мы этим двум великим ничтожествам, Троцкому и Ленину, – великому Прохвосту и великому Скопцу.

Вот наша казнь, наш стыд – стыд всей Европы, всего христианского человечества.

Но если даже весь мир поклонится диаволу, прославит царство зверя: «Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» – то не он, не Иосиф Пилсудский. От этого стыда избавит он Польшу и, может быть, избавит мир. Вот для чего он избран Богом.

Уходя от него, я хотел обратиться к полякам с такими словами: Как вы счастливы! Как должны вам завидовать все другие народы! Как возлюбил Господь Польшу, свою прекрасную Дочь, терном венчанную, на кресте распятую, что в такие дни послал ей такого Вождя! Я среди вас – чужеземец, но не чужой, и я говорю вам: любите его. Я знаю, что вы его любите. Но еще больше

любите. О, пусть никогда не повторяются такие минуты, когда он говорил: «Я слабею; я – против Польши». Помните: вы можете все потерять и снова найти – хлеб, золото, оружие, обширные земли, чудесные гавани, сокровища искусств, наук и даже новую славу, но не второго Иосифа Пилсудского. Потеряв его, вы все потеряете и уже не найдете. Не спорьте о том, кто больше, вы все или он один. Разве вы знаете, кто кого создал, вы – его, или он – вас? Вы все подымаете его, как волна подымает плывущего; а он держит вас, как согбенная кариатида держит великий дом.

Страшные, черные дни наступают и уже наступили. Разве это не чернота последнего ужаса, стыда последнего, что вождь великого народа, продавая часть свою и чужую, торгуется с ничтоженным диаволом как разбойник с разбойником – над трупом зарезанного, как сводня с потаскухой – над горстью золота? Сегодня черно, страшно, а завтра будет еще страшнее, чернее. Вот идут на вас, на всю Европу несметные полчища варваров; идет нечто подобное царству Антихриста. Не думайте, что я говорю вам пустые слова, пугаю вас детскими сказками: это могут думать другие народы, но не вы, поляки. Я говорю вам то же, что говорили ваши пророки – три огненных А, начертанных во мраке перстом Божиим для вашего спасения: Август Чешковский, Андрей Товянский, Адам Мицкевич. В эти черные дни не забывайте ваших пророков. Я говорю вам то же, что говорили они: не думайте, что Польша, как Христос, воскресла и уже не умрет. Христос – в Польше, но Польша – не Христос. Для людей и для народов крестный путь на земле не кончается; от распятия к воскресенью и к распятию новому, пока тайна Божья не совершится не только в каждом народе, но и во всем человечестве.

Да, не пустые слова то, что я вам говорю вместе с вашими пророками: идет на весь христианский мир нечто подобное царству Антихриста. И последний оплот от него – Польша; последний бой с ним дан будет здесь.

Соединитесь же все, как один человек, в этом бою вокруг вашего великого вождя, избранника Божьего Иосифа Пилсудского. Соедините ваши сердца, как мечи, и вознесите его на такую высоту, чтобы все народы увидели его, как вы его видите, узнали его, как вы его знаете.

Если вы это сделаете, то спасете Польшу, и, может быть, спасете мир.

САВИНКОВ И ВРАНГЕЛЬ[2]

Южный фронт и западный, Врангель и Савинков – две руки. Две руки к одному горлу тянутся, горлу Ленина-Троцкого. Соединятся руки на горле и задушат. Соединятся ли?

Дорого бы дали большевики за голову Савинкова, за голову Врангеля; но еще дороже – за то, чтобы они разъединились. Разъединятся руки, ослабнут и не задушат. Разъединение Савинкова и Врангеля – гибель одного из них или обоих – победа легчайшая для Ленина-Троцкого.

Савинков подчинился Врангелю. Врангель принял подчинение Савинкова. Но оба подчинены одной высшей воле – воле России, и потому оба свободны. Свободны и связаны, как две руки на одном теле – теле России, – восстающего из гроба Лазаря. Пока руки не свободны, связаны пеленами смертными, ничего не могут они сделать, падают, бессильные. Надо освободить руки, снять пелены смертные с Лазаря, чтобы он вышел из гроба.

Сколько бы ни подчинялся Врангелю Савинков, – в одной точке он свободен, как левая рука свободна от правой. Что ж это за точка? Где она?

Прежде всего, конечно, во времени. Когда еще не было Врангеля, – был Савинков. До представителя колчака и Деникина, до военного министра Временного правительства, был революционер-террорист, член боевой организации, друг Сазонова и Каляева, приговоренный к виселице и чудом спасшийся, – великий русский патриот Борис Савинков.

Это во времени, но и в пространстве – та же точка свободы.

Врангель стоит на русской земле. фронт его – внутренний. И в этом сила его, для всех очевидная. Без внутреннего фронта, без русской земли России освободить нельзя.

Савинков стоит на чужой земле. фронт его – внешний. И в этом слабость его,

Мережковский Д. Лица filosoff.org
тоже для всех очевидная. Но то, что кажется слабостью, не может ли
сделаться силою?

Врангель получил власть, как бы родился от Деникина. От кого же родился
Савинков? От Врангеля? Нет, не от Врангеля.

Произошло самозарождение, самозачатие, чудесное, неисповедимое, как всякое
рождение и зачатие.

Польша – «враг России, исконный и вековечный» – взлелеяла русское дело,
освобождение России. Польша приняла, как родная земля, великого русского
патриота Савинкова. Разве это не чудо? Разве не чудо, что Савинков стоит на
чужой земле Польши как на родной?

Союз Польши и России – не только русско-польское дело, но и всеславянское.
А может быть, что-то еще большее.

Сила большевизма – сила III Интернационала – международная, всемирная.
Фронт большевизма – всемирный. Красный Интернационал можно победить только
Интернационалом Белым. Не «желтым» и не «белогвардейским», как большевики
ругаются, а именно Белым.

Если красное знамя в руках большевиков сделалось знаменем свободоубийства,
братоубийства, если надо убелить красное знамя от всей пролитой крови, то
белое – и есть это убеление; белое знамя сделалось знаменем революционной
свободы, освобождения русского и всемирного.

Вот почему великий революционер Борис Савинков, не изменяя, а служа
Революции, так бесстрашно поднял Белое знамя на Красное.

Польша – Европа, а Европа – весь мир. Стоя на польской земле, Савинков
стоит на земле европейской, всемирной. И чужая земля – родная под ним, ибо,
по слову Достоевского, тоже великого русского патриота: «У нас, русских,
две родины – наша Русь и Европа». Наша Русь и весь мир.

Кажущаяся слабость Савинкова есть действительная сила его, безземность –
всемирность. Силы этой нет у Врангеля; есть у него иная сила, русская; но
этой нет. Тут Врангель и Савинков противоположны, как левая рука
противоположна правой, не для того, чтобы мешать, а чтобы помогать друг
другу.

Таковы две точки, в которых Савинков и Врангель свободны и связаны; одна –
в пространстве, другая – во времени. А третья – в духе.

«Дух Врангеля – черносотенный», утверждают враги его. Он мог бы им
возразить своей демократической программой. Но программа – слова, а слова
получают убедительность неотразимую, только воплощаясь в дела и в лица.
Слова свои Врангель еще не успел воплотить в дела, а лица его ближайших и
отдаленных, случайных и не случайных сотрудников, от епископа Вениамина и
Бориса Суворина до Кривошеина и Гурко, отнюдь не освещают демократическим
светом лицо самого Врангеля.

Лицо Савинкова говорит само за себя и в чужом свете не нуждается. Кто
говорит: «Савинков», – говорит: «русская революция», – та самая, которая
началась свержением Романовых и кончится свержением большевиков. Этого
революционного света нет на лице Врангеля. Иной свет на нем – свет России
царской. Я это говорю ему не в укор: надо же, наконец, вспомнить, что за
царской Россией – не только Николай II и Гришка Распутин, но и Пушкин и
Петр. Кровь и кровная связь неразрывно связывают генерала Врангеля с
царской Россией. Террорист Савинков эту связь порвал: от России царской
отделился чертою кровавою. И никто ее не сотрет; никто не поверит
большевикам, сколько бы ни обвиняли они Савинкова в монархических замыслах.

Если освобождение России должно быть революционным, – концом революции
февральско-мартовской, прерванной октябрьской контрреволюцией; если будущая
Россия есть Россия не первая, царская, и не вторая, большевистская, а
третья, свободная, то Савинков – человек Третьей России. И в этом –
опять-таки сила его, которой нет у Врангеля.

Мы не знаем, что будет; будет ли жизнью поставлен вопрос: Врангель или
Савинков? Но мы не хотим сами ставить этот вопрос. Мы хотим не разделить, а

соединить две руки, протянутые к одному горлу Ленина-Троцкого. Вот почему мы не спрашиваем: Савинков или Врангель? Мы говорим: Врангель и Савинков.

«Кто потеряет душу свою, – обретет ее». Что это значит? Умереть, отдать жизнь за любовь? Нет, не только жизнь: душа – больше, чем жизнь. Душа – лицо человека, личность его, то особенное, единственное, что отделяет человека от всех других людей. Каждый из нас любит Россию по-своему, своею любовью, личною, отдельною. Пожертвовать общей любви этою отдельною любовью и значит потерять душу свою, чтобы вновь обрести ее в душе России.

Есть много людей, готовых отдать жизнь за отечество; но людей, готовых потерять за него душу свою, очень немного. А такие люди и нужны сейчас России.

Я не имею чести знать лично генерала Врангеля. Савинкова я знаю давно и верю, что он один из немногих русских людей, готовых потерять душу свою за Россию.

БАЛАХОВИЧ [3]

Я заговорил о Балаховиче в обществе поляков и в присутствии русского генерала, влиятельного, неглупого, талантливое и даже разделяющего, по крайней мере, на словах, демократическую программу генерала Врангеля. Я утверждал, что главная новизна Балаховича, его «гениальность» (оставляя, конечно, в сторону меру этого «гения») заключается в том, что он первый задумал превратить войну с большевиками в восстание, в революцию, и что в этом он прав, потому что нельзя победить большевиков действием исключительно внешним, военным, – их можно победить только внешним и внутренним, военно-революционным действием.

«Демократический» русский генерал слушал меня насмешливо.

– Извините меня, господа, я прежде всего, – человек практический, – начал он, когда я кончил. – Тут высказаны были идеи, может быть, и светлые, благородные, но слишком общие, из коих нельзя извлечь никаких практических выводов. Я не понимаю, что значит превращать войну в восстание, и в чем тут «гениальность» Балаховича. Балахович не гений, а мелкий авантюрист, и говорить о нем серьезно нам, военным людям, не приходится.

Я не возражал. Сразу почувствовал, что генерал говорит «с того берега», и не хотел, чтобы поляки увидели, какая даль разделяет два русских берега.

А на другой день зашел ко мне генерал Балахович. Просидел три часа; все говорил, не уставая, и я, не уставая, слушал. Он рассказывал о том, что у него происходит на фронте. Рассказы удивительные, достойные великого художника.

Но повторить их я не сумел бы. Тут сила – не в словах, а в самой личности, лице Балаховича – этом смугло-румяном, обветренном, худом, костлявом, крепком, как бы железном, грубом и тонком, детски-простом и страшно-сложном лице с болезненной складкой в губах, выражением почти беспомощной слабости, и с глазами мутно-голубыми, жутко-пьяными, – да, пьяными, но чем? Вином, кровью, славою, смертью? Нет. Так чем же? Не знаю. Может быть, судьбою, – своею судьбою, малою или великою, но которую надо ему совершить до конца. Где будет конец, погибнет ли «партизан» Балахович в Бобруйске, Смоленске, или дойдет до Москвы «главковерхом», – я опять-таки не знаю. Знаю только, что он уже идет – летит и долетит до конца, не остановится. Вот этим-то концом он, может быть, и пьян.

Во всяком случае, это – лицо необыкновенное, «необщее», в какой-то мере «гениальное» или, как любил выражаться Гете, «демоничное».

И странно: глядя на это лицо антибольшевистского «белого Батьки», я все вспоминал столь знакомые мне лица большевиков. То же лицо, только обратное, опрокинутое, как в водном зеркале. Этот антибольшевик – большевик неизнанку. В этом – страшная слабость и страшная сила его, сила и слабость вместе. Что победит, слабость или сила, – вот вопрос.

И вот чего никогда не поймет мой «демократический» русский генерал и что отлично понял великий Вождь великой Демократии, маршал Иосиф Пилсудский, тоже явление «демоническое» в высшей степени.

Из всех неповторимых рассказов Балаховича мне особенно запомнился один – о пьяненьком «сынке»; «сынками» называет он всех солдат своих, а они его – «Батькою».

В ресторане одной из варшавских гостиниц «сынок» напился, по случаю взятия отрядом генерала Балаховича г. Пинска, и, говоря старинным приказным языком, «был шумен»: не хотел платить по счету, бушевал, выйдя из ресторана на улицу. Случайно подъехал генерал Балахович. Начал урезонивать пьяного. Но «сынок» и при Батьке не унимался. Лез к нему с поцелуями: «Батько, а, Батько, ведь Пинск-то взяли! Как же не погулять на радостях? Ну, поцелуемся!» Собиралась толпа; было нехорошо. «Ходи в комнату!» – решил наконец Балахович. Войдя в комнату, запер дверь на ключ и наказал Сынка отчески. «Телесные наказания у меня на фронте запрещены. Но тут уж, извините, не выдержал... А потом дал выпить стакан воды и велел придти утром».

Когда утром явился «сынок», Батько подал ему руку – руку подает всем солдатам вне строя – и сказал:

– Вчера я с тобой поступил как с собакою, а сегодня говорю как с человеком: если ты еще раз напьешься, я тебя из собственных рук убью.

– Нет, Батько, не ты – меня убьешь, а я сам себя. Вот тебе крест и честное слово!

Расцеловались и разошлись.

– И уже поверьте, сдержит слово: или пьян, или жив не будет, – кончил рассказчик.

Что сказали бы на это сомнительно и несомненно великие люди? Наполеон не сказал бы ничего, – только молча улыбнулся бы. Петр Великий милостиво похлопал бы по плечу генерала: «Молодец! Так их и надо, каналий!» Керенский объявил бы, что Балаховичу «руки подавать нельзя после такой мерзости». А Троцкий тоже, как Наполеон, промолчал бы, но побледнел бы и струсил, потому что «великий Троцкий» – это уж я к стати один секрет сообщаю, открытый мне «маленьким бесенком с насморком», который иногда забегает ко мне прямо от Троцкого: «великий Троцкий» – великий трус.

– У меня, знаете, все раненые – веселые, – продолжал рассказчик. – Сам утешаю всех, никого не пропущу. У иного плечо раздроблено, смотреть страшно, а ничего, – смеется. Умирает человек и только просит: «Вели, Батько, похоронить с музыкой». А у иного брюхо распорото, внутренности выпали, а он покурить просит: «Давай, братцы, папироску, пусть-де знает Батько, как сынки умирают».

Сам Батько – веселый, и всем у него весело. А у Ленина – скучно. Но ведь никогда еще не бывало, чтобы веселых побеждали скучные.

Балахович – первый вал новой стихии, восстающей на большевизм. Может быть, первый вал упадет и рассыплется пеною. Но, если не первый, не второй, не третий, то девятый – до Москвы докатится.

Балахович поднял трехцветное знамя рядом с белым Орлом. Польша и Россия этого никогда не забудут.

Великий польский демократ, Иосиф Пилсудский, понял Балаховича, и великий русский революционер, Борис Савинков, тоже понял его.

Стихия без сознания, Балахович без Савинкова ничего не сделает. Но все сделает сознание со стихией, Савинков с Балаховичем.

САВИНКОВ [4]

– Оказался-таки в дураках умный ваш друг, Савинков! – злорадствует та милая семнадцатилетняя барышня, которую недавно окрестили так незабвенно «Эсерочкой».

– Ну, еще бы! – подхватывает более взрослая Кадеточка и прочие милые барышни. – Этого и надо было ждать. Террорист и убийца Савинков связался с

Мережковский Д. Лица filosoff.org
проходимцем и погромщиком Балаховичем. Провалились оба – туда им и дорога.

Провалились ли сейчас Балахович-Савинков, я не знаю. Знаю только, что хотят их провалить, уничтожить, и что сделать это не так то легко. Для этого надо истребить их физически, убить, а пока живы, они есть и будут. Балахович-Савинков – призрак; и здесь, в Париже белом, призрак этот кажется не страшным, но, может быть там, в красной Москве, он страшнее, чем здесь; тем страшнее, чем призрачнее; и уж во всяком случае, этот призрак бесплотный, страшнее воплощенного Врангеля: та плоть рассеялась призраком, а этот призрак, если воплотится, то уж никогда не рассеется. Ловят его и не могут поймать; убивают и не могут убить. Как убить, чем? Ножом, пулей? Но пуля и нож проходят сквозь тело призрака, как сквозь пустой воздух и не задевают, не ранят. Убить призрак нельзя; он может только сам исчезнуть; но исчезнет – и явится вновь; сколько раз исчезал и являлся.

И если даже первый Балахович-Савинков будет убит, истреблен физически, то он воскреснет – явится Балахович-Савинков второй, третий – десятый; и начатое первым кончит последний; скажет, наконец так, что вся Россия услышит: «Мир, Земля, Свобода», – и подымет Россию; не вооружит армию белую, – а разоружит красную (гениальная мысль, да гениальная – смейтесь Эсерочки, Кадеточки!); соединит удар внешний с внутренним, превратит войну в восстание, в революцию. И пронжет мечом белым, белою молнией красную ночь, и вонзится в сердце Зверя.

Глупо или умно делает Савинков, соединяясь с Балаховичем, это покажет будущее. Во всяком случае, ни юная Эсерочка, ни дряхлая Кадеточка этого сейчас решить не могут.

Стоит ли говорить о Балаховиче – «погромщике»? Почти все слухи о погромах опровергаются («Свобода», «Таймс»), но опровержения здесь, в райском Париже, не действуют.

Могут ли хотеть погромов Балахович и Савинков? Что Савинков – умный человек, с этим и злейшие враги его согласятся. Может ли умный человек не понимать, что сейчас, в России, погромы – не только гнусность, но и глупость, неминуемая гибель дела-освобождения России? У Балаховича и Савинкова – общее дело: вместе победят или погибнут. Как же и в этом, столь важном для общего дела – в борьбе с погромами – им не быть вместе?

Не Балаховичу и Савинкову нужны погромы, а большевикам и соглашателям: они-то и раздувают, эти слухи.

Большевики – враги не только России, но и еврейства подлинного, любящего Россию. Пусть же те из евреев, кто этого не знает, на меня сердятся, а я все-таки скажу: да погромы гнусность и глупость; но вот большевики над Россией злодействуют, – и что перед этим все злодейства? большевики убивают Россию, – и что перед этим все убийства? большевики громят Россию, и что перед этим все погромы?

«Вот уже две недели, как я нахожусь в походе, в армии Балаховича, – пишет Б. Б. Савинков в частном письме от 30 октября из м. Турова, Пинского уезда. – Все, что о Балаховиче рассказывали, вздор и клевета. Он такой же оклеветанный на политической почве человек, как я. Я ему совершенно верю.. Я и Балахович ведем усердную борьбу с грабежами и погромами. Грабители и погромщики расстреливаются на месте... У нас нет ни пьянства, ни разгула. Мы все в чистых рубашках».

Чистую рубашку надевает русский человек идучи на смерть за святое дело. Савинков не лжет, не хвастает, – может быть, и с этим враги его согласятся. Он сейчас надет чистую рубашку, потому что идет на смерть. Храни его Господь, но если ему суждено умереть, он умрет за святое дело – за освобождение России.

Что же значит: «Савинков – убийца»? Одно из двух: или освобождение России – дело не святое, а преступное; и тогда уже не только Савинков, но и все борцы за свободу России – простые убийцы-преступники; таково мнение русских жандармов; или освобождение России – дело святое, и тогда Савинков – не «убийца» а честный солдат в честном бою, отдающий кровь за кровь, свою за чужую, и его обвинение в убийствах – клевета презренная, чья тяжесть падает не на него, а на русскую революцию. Кто смеет называть его «убийцею»? Русские революционеры? Разве они соединились с жандармами?

Я знаю Савинкова много лет; я с ним слишком близок: мне трудно о нем говорить. Но что же делать? Бывают случаи, когда должны говорить и близкие о близких.

Я вижу все его слабости, их увидеть легко: они все – наружу. Вообще легко видеть слабости сильных; насколько труднее увидеть их силу, по крайней мере нам, современникам! И стоит ли говорить о слабостях Савинкова? Где сейчас тот сильный человек, который имел бы право сказать: «Савинков – человек слабый»?

– Скажите на милость, за что вы, русские, так ненавидите Савинкова? – спросил меня в упор один англичанин, очень умный и любящий Россию (есть и такие).

Я не знал, что ответить, и ответил вопросом:

– А вы считаете Савинкова человеком замечательным?

– Не замечательным, а среди русских людей сейчас – единственным. А вы?

– Я тоже.

– Так в чем же дело?

Я опять не знал, что ответить, и ответил из всех для нас горьких истин горчайшею:

– Нет пророка в отечестве...

– Не потому ли у ваших пророков нет и отечества? – усмехнулся мой собеседник, и мне пришлось простить ему усмешку.

Англичанин, кажется, прав: среди современных русских людей Савинков – человек «единственный». В чем же эта единственность?

О нас, русских людях, думают и мы сами о себе думаем, что среди нас мало людей с сильной волею. Это не совсем так. Проклятие наше – не безволие, а то, что наша воля или безумна, или бессовестна, а иногда и то и другое вместе. Кто в России люди с сильной волею? Пугачевы, Разины, Ленины, Троцкие. И в величайшем явлении русской воли – в Петре – нет равновесия воли с умом и совестью. Не потому ли сейчас и проваливается вся Россия петровская, что ее основание, существо Петра, именно тут, в расхождении ума и совести с волею, дало трещину. Я не оскорбляю великую память, не скажу, что Петр – «большевик». Но надо все-таки правду сказать: между Петром и большевиками есть кровная связь, и, чтобы порвать эту связь, вся Россия сейчас истекает кровью.

Да, проклятие наше в том, что русская воля – во зле, во грехе, в безумии, а русская святость и мудрость – в безволии; проклятие наше в том, что лучшие русские люди созерцают, а действуют – худшие.

Наш первый опыт выйти из грешной воли в святую – есть русская революция. Опыт не удался: русская революция – мартовская провалилась в октябрьскую контрреволюцию. Не потому ли, опять-таки, что и здесь, в революции, – все та же бездонная трещина между русским умом, совестью – и волею? Не потому ли, что и здесь, в революции, святая воля провалилась в волю грешную или в святое безволие?

Но если когда-нибудь суждено революции удастся, то это будет благодаря таким людям, как Савинков. Таких людей немного во всей русской революции, но в эти последние дни ее, он в самом деле, кажется, «единственный».

Не в воле, не в уме, не в совести, а в соединении этих трех сил – его «единственность».

Стоит заглянуть в книги Савинкова, – все книги его – «исповедь», – чтобы увидеть, что это – не только глубокий ум, но и «глубокая совесть» (слово Алеши об Иване Карамазове). Что Достоевский предсказал, то Савинков исполнил; что тот передумал, – этот пережил: величайшую муку человеческой совести – религиозную муку революционной совести – раздирающую ум и совесть

антиномию: нельзя, а надо убить, «переступить через кровь», – он пережил.

Почти все лучшие русские люди остаются в революции, потому что антиномии этой не видят, по крайней мере не видят ее до конца; а когда увидят, – уходят из революции. Савинков увидел и не ушел.

Почти у всех лучших русских людей религиозная совесть сжигает, испепеляет религиозную волю, как дерево; у Савинкова – она закаляет ее, как сталь.

Почти все лучшие русские люди в революции до конца жертвуют, но не до конца действуют. Не потому ли вся Россия сейчас – жертва, какой еще мир не видал? Савинков до конца не жертвует, а действует. В этом то, столь необычайном для русских людей, преобладании действенной воли над жертвенной и заключается его незаменимость, драгоценность, единственность.

«Нехорошо быть человеку одному». Но, если Савинков погибнет, ничего не сделав, то в этом вина не его, а наша – вина тех, кем отвергнут этот человек «единственный».

– Ну что, как у вас там, в России, на Врангеля очень надеялись?

– Нет, не очень. Вы же были при Колчаке, Юдениче, Деникине, – сами знаете, как на них надеялись. А на Врангеля и того меньше.

– Так на кого же надеяться?

Собеседник мой, русский человек, только что бежавший из России, помолчал, подумал, поглядел на меня пристально и вдруг отчеканил тихо, твердо, как бы с тайным вызовом:

– На кого надеяться? А вот на кого – на Савинкова.

Я удивился: сошлись-таки крайности – англичанин с русским.

Тотчас после падения Врангеля, мы все вдруг что-то поняли и чему то ужаснулись, заговорили о «русском единстве», о Национальном Комитете. Войдет ли в Комитет Савинков? А если нет, то какое же «русское единство» без русского человека «единственного»? Это не я говорю, это могли бы сказать мои собеседники – англичанин и русский.

Горе нам, что пал Врангель, поддержанный всеми; но горе нам еще большее, если падет Савинков, никем не поддержанный. Никто не поддержал его, когда оружие было у него в руках. И теперь, когда оно уже сломано, хотя еще из рук не выбито, – никто его не поддержит. Но если он падет, то, может быть, не здесь в чужой земле, а там, в родной, – скажут: последнему бойцу за свободу России, павшему с оружием в руках, – слава!

Да, горе нам: мы никогда не увидим Свободной России, если будем отвергать таких людей, как Савинков.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 1821–1921[5]

У христиан есть ангел-хранитель, а у язычников был демон благой, «демон Сократа», предостерегавший их о том, чего не надо делать.

Мой ангел-хранитель или мой демон шепчет мне на ухо: «Молчи о Достоевском, ничего ни с кем не говори о нем сейчас, ни с европейцами, ни с русскими, – с русскими особенно».

Я исполню этот завет: ничего не скажу о самом Достоевском, буду говорить только около него. Чтобы сейчас говорить о нем самом, как следует, надо бы понять и передвинуть его всего, всю громаду, гору его. «Если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали бы горе сей: сдвинься»... Но ведь, если бы мы вообще имели веру, то не случилось бы с нами и с Россией того, что случилось.

С русскими говорить сейчас о Достоевском, о славе России, когда самой России нет, – тяжело, стыдно, страшно. Не предсказывал ли нам Достоевский: вы Россию погубите. И вот погубили. Ни перед кем мы не чувствуем себя такими виноватыми, преступными, как перед ним. Прежде, чем о нем говорить, не следует ли нам подумать, что ему сказать; прежде, чем его венчать, не

Мережковский Д. Лица filosoff.org
следует ли нам себя оправдать перед ним?

О, конечно, сейчас лицо его озарено таким ослепляющим светом славы, как еще никогда! Но ведь это озарение – зарево того пожара, который испепелил Россию.

Совершились пророчества, – вот в чем слава пророка. Слава Достоевского – гибель России. Не мог ли бы он сказать нам, прославляющим его:

Такою тяжкою ценою

Я вашей славы не куплю.

Странны судьбы людей в наши дни, всех вообще, а великих особенно. Странны, но для нас не ужасны, а скорее, смешны. Мы так привыкли к ужасам, что почти уже не ощущаем их, или ощущаем как во сне. Не медленно растущее нагнетание этих сонных ужасов, а только внезапный, по лицу ударяющий бич смеха – вот последнее, единственное, что иногда еще пробуждает нас от нашего сна.

Да, святые и ужасные некогда, ныне для нас только странны и смешны судьбы великих людей.

Не смешно ли, не странно ли, что там, в бывшей России, празднуется сейчас сотая годовщина Достоевского, заклинателя русских «бесов» теми самыми бесами, которых он заклинал, изгонял из России? И как торжествуют они, как смеются над ним: «Ты хотел нас изгнать, но вот, не ты – нас, а мы тебя изгнали!»

Разрешит ли чествование русской национальной славы интернациональный Троцкий-Бронштейн? Разрешит. Почтит ли благоразумный Ленин «безумного» пророка? Почтит. Милосердный Луначарский, простит ли «жестокий талант» Достоевского? Простит.

Но, если это – «слава», то воистину мог бы он сказать нам:

Такою тяжкою ценою

Я вашей славы не куплю.

Да, если бы все мы, русская интеллигенция, русское сознание и совесть, в последнем счете, все-таки решавшие судьбы России, не отделались с такою легкостью от Достоевского, как от «безумного» пророка и «жесточкого таланта», – то Россия не погибла бы.

Трудно, почти невозможно сейчас говорить о Достоевском с русскими людьми, со своими, а с чужими, с европейцами – еще труднее, еще невозможнее. Ведь русская литература для нас, потерявших родину, – родина последняя, все, чем Россия была и чем она будет. Но между «была» и «будет» – «есть». Как преодолеть это «есть»? Как его принять или отвергнуть? Кто это может, кто смеет?

Русская литература для нас то же, что для древнего Израиля – «Закон и Пророки». Исполнился ли наш «Закон»? Исполнятся ли наши «Пророчества»?

Не только говорить об этом с чужими, но и думать наедине с самим собою – все равно, что перевертывать нож в ране.

Русская литература – «Закон и Пророки» для нас. А для европейцев что?

Старославянский и русский язык всех вообще европейцев, чужеземцев называет «немцами», «немьими». Русские, славяне – единственные «люди слова», а все остальные народы не только германцы, «немцы», в частности, но и вообще все, кроме нас, – «немые».

Вот безумная гордыня или дикое варварство. Не за них ли мы и наказаны? Но, оставляя в стороне вопрос о вине, и о казни, надо признать, что само ощущение правильно. Мы ли глухи, европейцы ли немь, но мы друг друга не слышим. Русская литература для них – не «Закон и Пророки», а «игра и забава». – «Ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, – говорит Господь пророку Своему. Они слушают слова твои, но не исполняют их... ибо они делают из этого забаву... Когда же сбудется, – вот уже сбывается, – тогда узнают, что среди них был пророк» (Иезек. 33, 32–33).

Русский пророк, Достоевский чувствовал сильнее, чем кто-либо, ужас этой немоты бездонно разделяющей. Но если Достоевский причастен безумной

Мережковский Д. Лица filosoff.org

гордыне, то уж во всяком случае, не дикому варварству. Кое-что смыслит он в европейской культуре, – может быть, даже больше самих европейцев. За что-то любит Европу, «страну святых чудес», хотя иногда и кажется ему, что эта страна – уже «кладбище».

«У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа», – это он сказал. Но он же сказал и другое: «Верьте мне, все они (европейцы) ненавидят нас, русских, животную ненавистью и когда-нибудь бросятся на нас и съедят».

Достоевский еще ужасался и возмущался; мы теперь спокойны. Кое-чему научила нас агония четырехлетняя, – между прочим, спокойствию.

Волк ест ягненка. Разве это ужасно и возмутительно? Волк невинен. Или, может быть, не следует унижать волчьей невинности сравнением с невинностью бывших, культурных, бывших христианских народов? Ведь все-таки волк о ягненке кое-что знает. А когда при столкновении двух космических тел, двух громад вещества бездушного, одна разрушает и поглощает другую, то они ничего друг о друге не знают. Так сейчас о России ничего не знает Европа.

Надо же, наконец, правду сказать: то небывалое во всемирной истории, что сейчас происходит, – не смерть, а убийство. Нет, не мы умираем, а нас убивают.

Европа хочет съесть Россию. Съест ли, это еще вопрос. Но, если даже съест, то пойдет ли ей съеденное впрок? Не будет ли пища отравой?

«Великие русские писатели суть великие отравители европейского духа», – это говорит Л. Толстом и Достоевском один из самых пронизательных немецких критиков (Felix Salten). Я не знаю, так ли это; но знаю, что это может быть так: лекарство может быть ядом, и яд – лекарством.

Кто кого отравит, кто кого убьет, я тоже не знаю, но знаю, что борьба России с Европой – вековая борьба Востока с Западом – не нами началась, не нами кончится.

Это знал и Достоевский. Но Достоевский никогда не забывал, что исполнение европейской, всемирной культуры – не в борьбе, а в мире Востока с Западом. Ибо что такое христианство, глубочайшая и донныне единственная основа всемирности, как не «свет с Востока», свет соединяющий, та «молния, которая блистает с востока и видна бывает даже до запада». Что не было, нет и не будет иной молнии соединяющей, иного начала всемирности, Достоевский знал, как никто. Он также знал, что, если первая молния, сплавившая народы во всемирный сплав, была началом христианской истории, то молния вторая будет началом христианского Апокалипсиса. Воля европейского Запада – воля к бесконечному прогрессу, в смысле «дурной бесконечности», к царству человеческого, к истории; воля русского Востока – воля к благому концу, к царству Божьему, к Апокалипсису.

Если гибель России есть только наш Апокалипсис русский, наша гибель национальная, то нам надеяться не на что: мы погибли окончательно. Но это не так: наш русский апокалипсис в России начался – в Европе кончится; наша гибель есть гибель Европы, наше спасение – спасение Европы. Этого опять-таки никто не понимал лучше Достоевского. С первых веков христианства не было сказано никем с такою потрясающей силой реализма внутреннего, психологического, и внешнего, исторического: «Конец мира идет». (Предсмертные слова Достоевского из «Записной книжки»).

Если одна половина пророчеств его – то, что о России, – уже исполнилась с точностью, – то не исполнится ли с такою же точностью и другая половина, – то, что о Европе? И конец Европы не будет ли еще ужаснее, апокалипсичнее, чем конец России? Простим ли мы тогда или скажем: «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

Я себя не обманываю, я знаю, как трудно, почти невозможно сейчас в Европе говорить о христианстве и о христианском Апокалипсисе так, чтобы это не было «игрой и забавой». Но, не говоря об этом, что сказать о Достоевском, когда весь смысл его в этом и только в этом? Одно из двух: или он, в самом деле, – не больше, чем «певец с приятным голосом», – но тогда стоит ли говорить о нем в эти страшно серьезные дни? – или он – напоминание вечное о том, что христианство и христианский Апокалипсис не только были, не только

был Христос.

И, если когда-нибудь скажет Восток: Запад был, была Европа, Europa fuit, то это будет возмездие за то, что Европа сказала: Христос был, Christus fuit.

Для Европы Он был, а для России, России подлинной, России Достоевского, – Христос был, есть и будет. Когда выйдут «бесы» из бесноватого, то снова сядет он у ног Иисусовых. Достоевский и это предрек. Христос не только был, но есть и будет – вот где для вас, европейцы, наш «яд», или наше «лекарство»; вот где черта немоты бездонно разделяющей.

Да, может быть, вы и съели бы нас, будь мы только Востоком; но мы – не Восток и не Запад, мы – Восток и Запад вместе, последняя война или последний мир Востока с Западом.

Чего же Вы хотите, войны или мира? Решайте. Но, прежде чем решать, подумайте: отчего вы так легко отравились нами? Едва прикоснулись к русской чаше – и вот уже отравлены. А все тянетесь к ней, то ли как больные к лекарству, то ли как самоубийцы к яду. Да, отчего? Не от того ли, что мы не вы, но роднее, страшнее вам, чем вы думали: вместе погибнем или вместе спасемся.

Но что бы вы ни выбрали, войну или мир, – наш выбор сделан. «Война – отец всего», это – ваше слово; в наше: «мир есть мир», мир, вселенная есть мир, примирение. Таков завет нашего пророка Достоевского. Этого мы никогда не забудем. Сколько бы ни враждовали вы с нами, мы никогда не забудем, что «у нас русских, две родины: наша Русь и Европа».

И, если вы сумеете вернуться к началу своему, соединить Восток с Западом, если вы исполните завет Достоевского, о Христе вспомните, то и мы вспомним о Нем: простим.

В. Д. НАБОКОВУ [6]

Смерть его так прекрасна и так проста, что перед лицом ее говорить не хочется. Человек умер за другого. Это просто, как все великое.

Но если жалки в такую минуту все слова, то самые жалкие из жалких, праздные из праздных – слова о «политике». Полуразложившееся существо, в человеческом образе, простреливающее спину живого человека в берлинской филармонии, или затылок его в петербургской чека, – разве не все равно, зовут его монархистом, коммунистом? Разве это не одно и то же существо?

Если живые люди говорят еще, глядя на все совершающееся, о какой-то «политике», – то это не они говорят: это кричит в них отчаяние, затемняющее рассудок.

Политика – матери, поедающие своих детей? Политика – старики и женщины во вшах, годами забытые в подвалах тюремных? Политика – рассохшийся полуразрушенный автомат, царствующий и скрывающийся в Кремле? Политика – еженощная груда трупов, сваливаемая пулями в могилу? Политика – это существо на двух ногах с пустыми глазами, устроившее бойню в Берлине? Политика – это другое существо, которое ныне, озираясь, крадетсЯ в Геную и которое там будет охранять толпы еще невинных, еще живых, итальянских солдат?

Нет, все это – уже не политика. Это что-то пострашнее и поважнее всех политик, бывших и будущих. Говорить ли о пылинке, приставшей к материку, когда колеблется материк, когда он весь, и с этой пылинкой, вот-вот провалится в пучину морскую и только волны воронкой закипят над ним?

Провалится – не провалится... Но если нет, и если мы, даже в минуты прозрения, не издыхаем от страха, не теряем последнюю надежду нашу – то вот почему: есть еще в мире люди, готовые положить душу за жизнь другого. Есть еще в мире великая любовь. А если есть она – значит, и будет: «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Человеку, явившему нам любовь, поддержавшему нашу слабеющую надежду на спасение – Владимиру Дмитриевичу Набокову – кланяемся земно, в благодарной тишине.

Он услышит и наше молчание. Он жив.

ПУШКИН С НАМИ[7]

День русской культуры – день Пушкина.

Что он для нас? Великий писатель? Нет, больше: одно из величайших явлений русского духа. И еще больше: непреложное свидетельство о бытии России. Если он есть, есть и она. И сколько бы ни уверяли, что ее уже нет, потому что самое имя России стерто с лица земли, нам стоит только вспомнить Пушкина, чтобы убедиться, что Россия была, есть и будет.

Так для нас, но не так для иностранцев. Никто из них не сомневается в том, что русская литература всемирна, и никто не знает Пушкина, не верит, что он для России – то же, что Гете для Германии, Данте для Италии, Гомер для Греции. Как сильно действуют на иностранцев обе половины расколовшегося русского духа, А. Толстой и Достоевский, а целое, Пушкин, не действует вовсе. И мы предчувствуем, что сколько бы ни объясняли, ни открывали его иностранцам, он все-таки останется для них закрытым, запечатанным семью печатями. Тут его и наша немота, вечная или до какого-то срока. Это солнце России для мира еще не взошло.

Отчего? Не оттого ли, что Пушкин слишком поэт-«певец», а в песне все зависит от поющего голоса, в стихах – от лада и звука речи, от музыки слов. Совершенный стих непереводим, неповторяем на чужом языке, и чем совершенней, тем неповторяемей, а пушкинский стих – предел совершенства. Тут между словом и смыслом такая же связь, как между телом и духом; вынуть дух из одного тела и заключить в другое нельзя; так сказанного на одном языке нельзя сказать на другом.

Да, «непонятность» Пушкина происходит от этого, но не только от этого. Ведь и проза его, которая для нас не меньше стихов, тоже непонятна иностранцам. И почему Гомер, Данте, Гете, хотя в такой же степени «певцы», как Пушкин, а всем открыты, всемирны?

Нет, «непонятность» не только в языке, в поэтическом теле, но и в духе, в существе его, его и нашем, потому что он – мы, в нашем, вечном и высшем пределе. Как же в день русской культуры, день Пушкина, не подумать о том, почему именно это величайшее слово России не услышано миром.

Как будто предвидя этот вопрос, Достоевский в своей речи о Пушкине называет его «всечеловеком» и показывает, как в душе его, душе России, соединяются души всех веков и народов. На это опять-таки убедительно только для нас, своих, а чужие могли бы ответить Достоевскому: «Ты говоришь нам о том, что Пушкин взял у нас; но скажи и о том, что он нам дал».

Тут заколдованный круг: русская всемирность – в Пушкине; но Пушкин закрыт для мира:

Чистый ключ из-под горы
Не бежит запечатленный...
Как же его распечатать?!

«Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом!» Это, конечно, – шутка. Но ведь и крик боли. До чего ему надо было дойти, чтобы так закричать! Это почти невообразимо для нас, но несомненно: была такая страшная минута в жизни Пушкина, когда он вдруг понял: остаться в России – погибнуть, бежать – спастись.

Не спасся – погиб. Ну, конечно, не совсем. Много сделал, но не все. Умер, не сделав, может быть, главного, не открыв себя миру, не распечатав «ключа запечатленного»; сделался величайшим русским поэтом, но не всемирным; так и не сказал, что Россия даст миру.

Адриатические волны,
О, Брента! нет, увижу вас...
Мы этих волн нагледелись так, что, кажется, если бы среди нас был Пушкин, он закричал бы: «Черт меня догадал умирать на чужбине с душой и с талантом!»

Мережковский Д. Лица filosoff.org

Странная судьба его и наша: он умирал от тоски по Европе; мы умираем от тоски по России. Две тоски встречных, два встречных движения: от него к нам и от нас к нему. Наша разлука с ним – гибель, может быть, не только наша, но и России; наша встреча – спасенье.

Пушкин продолжает дело Петра. Оба они знают или пророчески угадывают, что назначение России соединить Европу и Азию, Восток и Запад в грядущей всемирности. Вот что Пушкин мог дать миру; пусть не дал, не кончил – «умер, как бог среди начатого мироздания»; в этом горе наше, не надежда: начатое так не может остаться неоконченным. Пушкин так же, как Петр, – не дар, а залог, не исполнение, а обещанье русской всемирности. Но не солжет Пушкин – воплощенная правда России: что обещал – исполнит.

Никогда еще русский народ, – не Россия, а русский народ, т. е. преходящий во времени род, поколение, дробь вечного целого, вечной России, – никогда еще русский народ не изменял так, как сейчас, делу Петра и Пушкина; так не противопоставлял русского Востока всемирному Западу; так не уходил от европейского света в азиатскую тьму. Это – не его вина? Нет, и его. Горе народам, о которых говорят: «С них нечего спрашивать!»

Вот почему сейчас так, как еще никогда, нужен Пушкин обеим Россиям. Что их две – одна здесь, в изгнание, другая там, в плену, – это очень страшно; этого не бывало никогда ни с одним народом; но надо смотреть правде в глаза: это сейчас так: на две половины расторгнута Россия, и мы только верим, что обе половины соединятся. Непредложное свидетельство единой России – Пушкин. Он – примиритель, соединитель, тот, кто делает из двух одно и разрушает стоящую посреди преграду.

Мы смутно чувствуем и все забываем, а должны понять и твердо помнить, что подвиг нашего изгнания может быть так же свят, как подвиг тех, кто остался в плену. Мы и они любим ту же Россию, ту же Свободу, потому что для них и для нас одинаково – Россия значит Свобода; мы и они для Нее живем и за Нее умираем.

Пушкин недаром сказал: «...в мой жестокий век восславил я свободу».

С ним освободятся наши братья в плену, и мы, изгнанники, вернемся с ним в его Россию.

Всем врагам Свободы – России Пушкин грозное знаменье: Сим победишь. Он – огненный столп, ведущий нас в пустыне изгнания на Родину.

Вот почему такая радость для нас, что Пушкин с нами.

УГЛЬ ПЫЛАЮЩИЙ (о Достоевском) [8]

И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверзтую водвинул.
Писать сейчас о Достоевском – мне трудно, почти невозможно. Очередной литературный юбилей – и Достоевский: ничего, кажется нет более несовместимого. Юбилей – это повод, чтобы вспомнить того или другого писателя. Не странно ли, не страшно ли что мы, в наше время, ищем поводов, чтобы Достоевского вспоминать?

Не вспоминать (в какой-то подходящий день), но помнить должны бы мы о нем во все дни, потому что все дни жизни нашей им полны и им пропитаны. Не слышали ли мы предостерегающего голоса? Слышали – и не услышали. Читали романы и думали, что Достоевский – писатель. Одни одобряли, другие находили недостатки. А кто понял, что Достоевский – не только писатель, что не в литературе его главное значение и место? Кто понял, что он – в самой жизни вашей, и эта жизнь, – жизнь всех, – зависит от того, услышим мы его или не услышим?

Никаких юбилеев Ильи-пророка или Иоанна-Предтечи мы не справляем. Мы знаем о них что-то другое и знаем, что о них тоже, как о Достоевском, следовало бы не вспоминать по случаю, а помнить всегда. Если и не помним, то как не помнить Достоевского, почти современника нашего, для нас говорившего? Как, до сих пор когда у нас на глазах уже совершается предреченное, мы все еще не понимаем, что не писатель он среди других писателей, а посланный нам пророк?

Мережковский Д. Лица filosoff.org

Дивная судьба предтеч и пророков: их не слышат. Они говорят ко всем, их слова – о жизни общей, жизни всех, но все – глухи. Лишь отдельные люди слышат, может быть, как и Достоевского, слышали – в России, в Европе. Но что это, если не слышали все? И лишь медленно-медленно, когда уже давно замолк пророческий голос, приходит ко всем понимание, что они, слышав – не услышали. Хорошо, если придет понимание не слишком поздно...

Не поздно ли для нас понять, что говорил Достоевский о России? Мы не должны и ставить себе этого вопроса, мы можем только сказать: пора! Не наше дело гадать, погибла ли Россия, или нет. Мы не смеем думать что она погибла. Но ни один из великих русских писателей с их великой любовью к России не поможет сегодня преодолеть искушение этой мысли: Россия погибла. Поможет только Достоевский. Только он знал последнюю тайну о России, видел сердце ее. Не ведали, не видели другие, он – видел. Всей глубины своего проникновения он выразить не мог: да и есть ли для этого человеческие слова? Но и тех огненных слов, сказанных, довольно, чтобы поверить ему, с ним вместе почувствовать, познать: не погибла, не погибнет Россия; грешная, проходит она через святое страдание. Живо сердце России.

Давно, давно, незадолго до смерти Достоевского, я слышал его чтение пушкинского «Пророка». Это было почти не чтение, а что-то совсем другое... Он начал чуть внятно, глухим шепотом. Медленно, тяжело повышался голос: но все повышался, рос; и последние слова были как громовый удар:

Глаголом жги – сердца людей!

В эту минуту мы все, казалось, поняли, что были, есть и будут пророки, которым дано жечь глаголом человеческие сердца.

Пишу это не ради юбилея, не вспоминаю Достоевского, не хочу и напоминать о нем. Пишу с надеждой, что хоть теперь, когда многое, по слову его, уже совершается, пойдем мы его наконец, откроем ему сердце. Пусть загорится оно в нас, как уголь пылающий.

Еще не поздно!

ГЕТЕ[9]

Он вошел в приемную, холодную, светлую комнату, с холодной парадной мебелью, с холодными белыми гипсами, снимками с древних мраморов. И от него самого веяло холодом; великий человек и господин, тайный советник маленького немецкого дворика, напыщенного и напудренного во вкусе Людовика XV.

– Ваше превосходительство высказываете великие мысли, и я счастлив, что слышу их, – говорит ему собеседник, доктор Эккерман, изгибаясь почтительно, не то как лакей своего барина, не то как жрец своего бога.

Бог – в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80-ти. Высок и строен: так величав, что похож на собственный памятник. Редкие седые волосы над оголенным черепом; смуглое, свежее лицо все в глубоких складках-морщинах, и каждая складка полна мысли и мужества. Углы старчески-тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены не то с олимпийской усмешкой, не то с брезгливой горечью. Стар? Да, очень стар. Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, – глаза человека, который видит «на аршин под землю». «Орлиные очи». Невероятно, до странности, до жуткости молодые, – в старом-старом, древнем лице, – глаза 18-летнего юноши. «Я ощущал перед ними страх», – признается Теккерей, посетивший его в Веймаре в 1831 г. Они напомнили ему глаза мельмота-путешественника, которым когда-то пугали детей; Мельмот, подобно Фаусту, заключил договор с «некоторым лицом», и до глубокой старости глаза его сохраняли властительный блеск. В самом деле, в этих нестарящихся глазах – что-то «демоническое», как любил выражаться их обладатель: демоническое – для язычников значит божеское (от древнегреческого слова *daímon* – бог), а для христиан – бесовское, но, во всяком случае, сверхчеловеческое.

Да, сверхчеловеческое – в этой вечной юности. «Ему скоро будет восемьдесят, – записывает Эккерман в 1825 г., – но ни в чем он не чувствует себя готовым и законченным; он стремится все вперед и вперед; он кажется человеком вечной, неразрушимой юности».

Мережковский Д. Лица filosoff.org

Знает, что в семьдесят лет влюбляться глупо. «Но надо часто делать глупости, чтобы только продлить жизнь». Думает, что люди живут, пока смеют жить; живут и умирают по собственной воле. У него самого воля к жизни, смелость жизни бесконечная.

Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия.

И другим, глядя на него, а быть может, и ему самому, приходит в голову странная мысль: полно, умрет ли он когда-нибудь? Ну, как такому умирать?

Когда же все-таки умер, – Эккерман вошел в комнату его. «Обнаженное тело было обернуто белой простыней. Фридрих (старый слуга) отвернул простыню, и я подивился на божественное великолепие этих членов. Грудь была необычайно сильная, широкая и выпуклая; руки и ноги – полные и нежные; следки ног изящны и правильны. Передо мною лежал совершенный человек в совершенной красоте, и восторг, который я почувствовал, заставил меня позабыть на миг, что бессмертный дух уже оставил эту оболочку».

Как будто и в смерти бессмертен.

Для нас, маленьких, – не слишком ли велик? «На таких людях не тело, а бронза», говорит – Раскольников. Бронзовым или каменным холодом веет от него. Когда такой человек входит в наш дом, ступени лестниц трещат, половицы скрипят и шатаются под ступней нечеловеческой, как будто вошел Каменный Гость.

О, тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Нам страшно с ним, как Фаусту с Духом Земли:

Weh! Ich ertrag' dich nicht!

Горе! Я не могу тебя вынести!

Вынести нельзя того, как этот нестрадающий относится к страданиям, этот бессмертный – к смерти.

«Сегодня, по дороге к Гете, я узнал о смерти великой герцогини-матери, – сообщает Эккерман. – Первой моей мыслью было, как это подействует на Гете в его преклонных годах. Он уже более пятидесяти лет был близок к герцогине, пользовался ее особой милостью: смерть ее должна была глубоко взволновать его. С такими мыслями я вошел к нему в комнату; я был немало изумлен, увидав, что он вполне бодр и здоров; сидит за столом с невесткой и внуками и ест суп, как будто ничего не случилось. Мы беззаботно разговаривали о разных посторонних вещах. Вдруг начался перезвон колоколов; Г-жа фон Гете взглянула на меня, и мы заговорили громче, боясь, что зауспокойный звон встревожит и потрясет его; мы думали, что он чувствует так же, как мы. Но он чувствовал не так, как мы. Он сидел перед нами, как высшее существо, которому недоступны земные страдания».

Что это, победа над чувством или просто бесчувственность? Божественный мрамор или обыкновенный камень?

Прежде чем решать, взглядемся, вслушаемся.

Wer nie sein Brot mit Tränen ass...

«Кто никогда не ел своего хлеба со слезами, кто не просиживал скорбных ночей, плача на своей постели, – тот вас не знает, Силы Небесные!»

Это песенка старого арфиста – неужели песенка самого Гете?

Когда он писал о самоубийстве Вертера, то никогда не ложился спать, не положив рядом кинжала: решил покончить с собой и только выжидал минуты.

«Немецкий писатель – немецкий мученик», – говорил он в глубокой старости, оглядываясь назад, на прожитую жизнь. Гете – мученик, Гете несчастный, – как это странно звучит. Но странный звук верен. «Меня всегда считали за особенного счастливца; я не стану жаловаться и бранить мою жизнь. Но, в сущности, она была только труд и работа; за свои 75 лет вряд ли я провел четыре недели в свое удовольствие. Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который надо было снова подымать». В этой-то Сизифовой работе над камнем жизни он сам окаменел, окаменил себя, чтобы вынести невыносимое.

Weh! Ich ertrag' dich nicht!

Горе! Я не могу тебя вынести!

– не говорил ли себе самому, как страшному Духу Земли?

Когда узнал о внезапной смерти сына, глаза его наполнились слезами, но не заплакал, а только произнес:

– Non ignoravi me mortalem genuisse. (Я знал, что рожден смертным.)

«Он был вполне спокоен и ясен духом, – записывает Эккерман через месяц. – Мы говорили о многом; о сыне он не вспомнил ни словом».

А через три дня после этой записи Гете вдруг заболел кровотечением, «потерял шесть фунтов крови, что при его 80-летнем возрасте весьма серьезно».

Боялись, что не выживет, но «его удивительное сложение и на этот раз одержало победу». Начал быстро поправляться и, лежа в постели, уже работал над второй частью «Фауста».

«Моя единственная забота – поддерживать физическое равновесие; остальное пойдет само собой... Тому, кто твердо начертал путь для воли, нечего много беспокоиться. Вперед... вперед по могилам!».

Если это – бесчувственность, то такая, как у солдата, который в пылу сражения не чувствует раны.

Под мертвым камнем живое сердце страдает, истекает кровью, так же, как наше, только умеет не по-нашему терпеть и молчать.

По природе своей он человек действенный. Но для действия нужна точка опоры, – а какая же опора в безбрежности, бездонности? Чтобы сделать что-нибудь, надо хотеть чего-нибудь. Чего же он хочет? Всего. Не слишком ли это много для сил человеческих? Созерцание должно ограничиться, сузиться, заостриться в острие воли, чтобы перейти в действие. «Величайшее искусство, – говорит Гете, – суметь ограничить и уединить себя». Этого-то искусства у него самого не было. «Я много потерял времени на вещи, которые не относятся к моему прямому делу». – «Я все больше понимаю, что значит быть действительно великим в одном деле».

Бывали минуты, когда ему казалось ничтожным все, что он сделал. Вся его жизнь – не действие, а только стремление, подготовление к действию. Начинать и не кончал; делал, но не сделал. В этом главная мука его, невероятная усталость, вечное вкатывание Сизифова камня.

Познание души человеческой приводит его к тому же, к чему познание природы. Может быть, нигде религиозное чувство его не достигает такой убедительной, осязательной подлинности, как в чувстве личного бессмертия.

Идея бессмертия связана для него с идеей творческой эволюции. «Для меня убеждение в вечной жизни истекает из понятия о вечной деятельности: если я работаю без отдыха до конца, то природа обязана даровать мне иную форму бытия, когда настоящая уже не в силах будет удержать мой дух».

Это только догадка; но если все его догадки о природе оказались верными, то почему бы и не эта? Уничтожение такого человека, как он, не большая ли бессмыслица, чем та, о которой сказано: *credo quia absurdum?*

Однажды, во время прогулки в окрестностях Веймара, глядя на заходящее солнце, задумался он и сказал словами древнего поэта:

И, заходя, остаешься все тем же светилом!

«При мысли о смерти, – добавил он, – я совершенно спокоен, потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимой и непрерывно действует из вечности к вечности; он подобен солнцу, которое заходит только для нашего земного ока, а на самом деле никогда не заходит».

В эту минуту он сам подобен заходящему солнцу: знает, так же, как оно, что опять взойдет.

Мережковский Д. Лица filosofff.org

В разговоре с Фальком в день похорон Виланда он выразил это чувство бессмертия еще с большей силой.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах в природе не может быть речи об уничтожении таких высоких душевных сил; природа никогда не расточает так своих сокровищ»...

Изложив свое учение о душах-монадах, сходное с учением Лейбница, он продолжает:

– «Минута смерти есть именно та минута, когда властвующая монада освобождает своих дотоле подданных монад. Как на зарождение, так и на это преставление, я смотрю, как на самостоятельные действия этой главной монады, собственная сущность которой нам вполне неизвестна... Об уничтожении нечего и думать; но стоит поразмыслить о грозящей нам опасности быть захваченными и подчиненными монадой, хотя и низшей, но сильной»...

Как относится религия Гете к христианству?

«Для меня Христос, – признается он в минуту откровенности, – навсегда останется существом в высшей степени значительным, но загадочным». (Mir bleibt Christus immer ein hochst, bedeutendes, aber problematisches Wesen.)

Я за Тобой не пойду...
Folgen mag ich dir nicht...

– обращается он ко Христу в одной из своих венецианских эпиграмм и кощунствует о Воскресении с возмутительной легкостью.

А в разговоре с Эккерманом утверждает: «Сколько бы ни возвышался дух человеческий, высота христианства не будет превзойдена». – «Величие Христа настолько божественно, насколько вообще божественное может проявиться на земле».

Но, поклоняясь Христу, он проходит мимо Него, и, в конце концов, Гретхен, кажется, все-таки права, когда говорит Фаусту-Гете:

Steht aber doch immer schief darum,
Denn du hast kein Christentum.

А все же что-то тут неладно
затем, что ты не христианин.

Тут впрочем, неладно не только у Гете, но и у всего современного человечества.

Ясно одно: что религия Гете не совпадает с христианством. В христианстве не понимает он чего-то главного, – не только ли прерывного, катастрофического, внезапного, непредвидимого, что в религии называется Апокалипсисом?

Но если одна часть его религиозного опыта меньше, то другая – больше, чем историческое христианство. Последнее соединение веры и знания, откровение Духа, «дыхания Божьего» в природе, которое предчувствует он, выходит за пределы христианства.

Для нас, русских, явление Гете особенно значительно.

Как волка не корми, все в лес глядит; как ни сближайся Россия с Европой, – все тяготеет к Азии. На словах – тяготение к Западу, на деле – к Востоку. Православие – христианство восточное.

Du hast kein Christentum.

Ты не христианин.

– говорит, как Гретхен Фаусту, святая Русь грешному Западу.

«Свет Христов просвещает всех», – это мы тоже говорим, – говорим, но не делаем. Нет-нет, да и усомнимся в самой сути просвещения вселенского, т. е. европейского, ибо много взять негде, – усомнимся, добро оно или зло, от Бога или от дьявола; нет-нет, да подумаем: не опроститься ли, не отправить ли всю европейскую цивилизацию к черту и не начать ли сызнова, «по-мужицки, по-дурацки»? Что это не только нелепая, но и нечестивая мысль, – мы все еще не поняли, как следует.

Вот от этого то русского яда лучшее противоядие Гете. Лучше, чем кто-либо,

Мережковский Д. Лица filosoff.org
знает он, что просвещение – от Бога; хотя и «язычник», с большим правом, чем иные христиане, мог бы сказать: свет Христов просвещает всех; лучше, чем кто-либо, мог бы напомнить нам, что и Европа – Святая Земля.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя,
– исходил не только нашу, но и ту родную, святую землю – Европу.

Wer immer strebend sich bemüht,
Der können wir erlösen.
Как вечно трудится, стремясь,
Того спасти мы можем,
– поют ангелы, «вознося в горнии бессмертную часть Фауста».

«В этих словах, – говорит Гете, – ключ к спасению Фауста».

Может быть, и к спасению всего европейского Запада: он ведь тоже «вечно трудится, стремясь».

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И МЫ ДУХОВНЫЙ КРИЗИС ЕВРОПЫ[10]

Очень трудно было мне приехать на это собрание и, может быть, еще труднее будет объяснить, почему. Все же попытаюсь это сделать. Вероятно, многие сюда собрались не только для праздника, но и для дела, и, может быть, не простая случайность, что в эти именно мрачные дни всевозможных «кризисов» – политического, социального, экономического и, главного из них, тягчайшего, духовного, – первоисточника всех остальных, – мы собрались со всех концов Европы сюда, в святую землю Италии, святую колыбель европейской Высокой культуры, под святейшую сень Maria del Fiore. Если же мы будем до конца искренни, то, может быть, признаемся друг другу, что пришли сюда, хотя и на праздник, но грустный, как бы день рождения нашей тяжелобольной матери, Европы.

Что такое «кризис» в болезни? Тот перелом ее, когда решается участь больного, – будет ли он жив. Кажется, такой именно кризис наступает сейчас для Европы. Более для нее опасной минуты, может быть, не было со времени Нашествия Варваров, и едва ли даже нынешняя опасность не грознее тогдашней: первое Нашествие было только внешним, а это угрожает быть внешним и внутренним.

Чтобы поставить верный диагноз болезни, надо, конечно, прежде всего увидеть лицо больного, узнать, что с ним сделала болезнь. Вот для этого мы сюда и собрались, – чтобы взглядеться с великой тревогой любви в лицо нашей больной матери, Европы. Но есть ли у нее одно лицо, не бесчисленное ли множество противоречивых лиц?

Может быть, не простая случайность и то, что мы собрались сюда, в столетнюю годовщину величайшего, наиболее синтетического, все противоречивые лица европейской культуры, соединяющего и примиряющего гения, Гете. Но здесь, в Италии, и особенно здесь, во Флоренции, нельзя вспомнить о Гете, не вспомнив тотчас же и о духовном предке его, – Леонардо да Винчи. Эти два лица, вопреки всем внешним различиям их, всем разделяющим их безднам пространства и времени, так внутренне схожи, как лица двух братьев-близнецов, – в синтезе, в примирении всех противоречивых лиц европейской культуры: за этими двумя лицами одно – лицо Европы.

Лет тридцать назад я написал книгу о Леонардо да Винчи и лет пятнадцать, от начала войны, в нее не заглядывал: все чего-то боялся, как будто предчувствовал, что она меня не обрадует. Но вот перед тем, как ехать сюда, заглянул, и что же почувствовал?

Одно из чувств моих вы, конечно, угадываете:

Нет большей боли,
Чем вспоминать о счастье в дни несчастья.
Но было и другое чувство. Каяться я вовсе не хочу, я только хочу сообщить, с наибольшей, доступной мне, правдивостью, мой тридцатилетний опыт. В одной части своей, войне, он – не только мой, русский, но и ваш, европейский; в другой, – может быть, более страшной и поучительной, для которой нет имени,

Мережковский Д. Лица filosoff.org

потому что слово «революция» не точно и недостаточно для того, что произошло в России, – в этой части своей, мой опыт еще не ваш, и дай Бог, чтобы никогда не был вашим.

Вот, при свете этих двух опытов, – Войны и безымянного русского Ужаса, я и заглянул в моего «Леонардо да Винчи» и увидел, какую ошибку я сделал в этой книге и как моя ошибка связана с той, которую делают и сейчас многие люди европейской Высокой культуры.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.

Ах! две души живут в моей груди.

Одна хочет от другой оторваться;

В грубой похоти, цепляется одна

Трепетными членами за мир,

А другая жадно рвется от земного праха

К небесным обителям. –

говорит второй, последний титан европейской культуры, Гете-Фауст; то же почти мог бы сказать и первый титан ее, Винчи.

Тридцать лет назад мне казалось, как и теперь еще кажется многим, что такое сожитие двух разорванных душ возможно и естественно; что это не безумие, а мудрость, не болезнь, а здоровье; не смерть, а жизнь; что можно жить в «высокой культуре», летая, как птица, или качаясь, как повешенный, между небом и землей; что можно греться между двумя огнями, не сгорая; служить Богу, продав душу дьяволу; как это делает Фауст. Делал ли сам Гете, делал ли Винчи, – вот вопрос.

В книге моей, мона Кассандра, прекрасная ведьма, летающая на черном козле на шабаш ведьм, Белая Дьяволица, соблазняя ученика Леонардо, Джиованни Бельтраффио, показывает ему «изумрудную скрижаль» Александрийских гностиков, Офитов, с вырезанной на ней надписью:

Небо вверху, небо внизу;

Звезды вверху, звезды внизу,

Все, что наверху, все и внизу:

Если поймешь, благо тебе.

Я думал тогда, как и теперь многие думают, что в этих словах заключена непонятая за две тысячи лет христианства совершенная истина; что Данте ошибся: нет ада, есть только другой, неиспытанный рай; нет дьявола, есть только другой, еще неузнанный, Бог; нет антихриста, есть только другой, еще не пришедший, Христос; первый – наполовину Спаситель, а на другую половину – второй, тот, кого христиане называют «Антихристом». Вся, некогда христианская, ныне языческая, культура, от своего начала до конца, от Винчи до Гете, – «мир сей», казалось мне, в Евангелие Христа не вмещается; но вместится в «Евангелие Антихриста». Истина совершенная и заключается будто бы в том, чтобы соединить «верхнее небо» с «нижним», Христа с Антихристом. Этого-то соединения предтечей и был для меня Леонардо да Винчи. Первым героем моим был Юлиан Отступник; вторым – Леонардо, тоже Отступник. «Ты победил, Галилеянин!» сказал тот, умирая, а этот, бессмертный, скажет: «Ты побежден, Галилеянин!».

Все это кажется мне, после тридцатилетнего опыта, после Войны и безымянного русского Ужаса, таким кощунством, такой смешной и страшной нелепостью, что мне трудно говорить об этом, хотя бы только наружно спокойно; всего труднее потому, что я уже отсюда слышу бесчисленные, возражающие мне голоса: «Ты постарел за эти тридцать лет, и поглупел, и струсил. Ты был тогда правее, чем теперь; ты говорил тогда революционную истину, а теперь говоришь реакционную ложь. Что же такое, в самом деле, вся наша культура, от своего начала, Возрождения, до сегодняшнего дня, как не примиряющий синтез христианства с язычеством того, – что ты называешь „Христом“, с тем, что ты называешь „Антихристом“? Надо или совсем отвергнуть „мир сей“, что и делает твой Христос, твое христианство, или принять мир таким, как он есть».

И хуже всего то, что возражающие так были бы наполовину правы: в том-то и соблазн лжи, что всякая глубокая ложь – наполовину истина. Но «по плодам узнаете их». Мы теперь и вкушаем плоды этой лжи в духовном кризисе европейской культуры, в том, что заставляет нас вглядываться в лицо нашей больной матери, Европы, с такой тревогой: как бы не увидеть в нем лица смерти, *facies nurocratica*.

Вовсе не в оправдание себе, а лишь в объяснение, напомним, как было дело

тогда, в канун XX века, не только со мной, но и со всем моим поколением. Только что всходила романтическая заря ницшеанского Сверхчеловека, Антихриста. Я жил в Италии, во Флоренции, готовясь писать книгу о Леонардо. В эти дни еще ни одна черная стрелка авиона не пронизывала голубого неба над Maria del Fiore, но мысль о человеческих крыльях уже носилась в мире и опьяняла людей мечтой о полете, о великой победе духа над телом, свободы над порабощающим законом механики. Мне казалось тогда, что Крылатый, Летящий, победивший закон тяготения, Освобожденный, Освободитель и будет Сверхчеловеком.

Эти-то две мысли – о Сверхчеловеке и крыльях – слились для меня в одну: белые крылья винчьевского «Великого Лебеда» озарились для меня романтической зарей Сверхчеловека, Антихриста.

В эти дни, посетил я таинственную Белую Гору, Monte Albano, между Пизой и Флоренцией, где прилеплено к острому холму, как ласточкино гнездо, маленькое селение Винчи. Я восходил на гору, подымаясь все выше и выше, как будто побеждая суровые, нахмуренные горы, облитые ветром, и, с каждым шагом, даль открывалась все шире и шире, как будто узкая тропинка уходила из-под ног моих, и медленно, с неощутимой плавностью, я летел над волнистыми, падающими далями, на исполинских крыльях. И было мне видение, и я услышал слова:

«С горы, которая получила имя свое от Победителя – (vinci, vincere, значит „побеждать“) – предпримет свой первый полет Великая Птица, il Grande Uccello, Человек на спине огромного Лебеда, наполняя мир изумлением, наполняя все книги своим бессмертным именем. – И вечная слава гнезду, где он родился!» (Леонардо да Винчи).

О, конечно, я уже тогда понимал, что ницшеанское безбожие – детские пеленки для титана Винчи; что он – предтеча не только Антихриста; что можно сказать об этих двух титанах человеческого духа, Винчи и Гете, то, что старинный биограф говорит о Спинозе: «Человек, пьяный Богом». Я уже тогда понимал, что оба они менее всего материалисты-безбожники и менее всего повинны в тех плоских и пошлых выводах, которые делают из науки невежды; что оба могли бы сказать, как сказал один из них, Винчи: «Малое знание отводит от Бога, великое приводит к Нему».

«Я утверждаю, – писал Леонардо в „Началах механики“, – что сила есть нечто духовное, незримое, потому что в ней жизнь бестелесная». – «В природе нет ничего, кроме силы и движения. Сила есть воля к счастью, вечное движение мира к последнему равновесию, Первому Двигателю, il Primo Motore».

Сила не «воля к бытию», как у Шопенгауэра, не «воля к могуществу», как у Ницше, а «воля к счастью», к «блаженству». Тут, конечно, разница огромная. Вспомнить, что в Евангелии основной религиозный опыт – Блаженства.

Когда он познает природу, учится, он молится. Вслушайтесь, разве это не молитва: «О, дивная справедливость Твоя, о, божественная необходимость Твоя, Первый Двигатель! O, divina necessita di te Primo Motore!»

Вся его наука – религия, так же как вся наука Гете. Внешний опыт сливается для них обоих с внутренним, знание – с верой. Если в опыте внешнем, механика Первого Двигателя есть для Леонардо «божественная необходимость», «справедливость», то, может быть, в опыте внутреннем она для него все еще, как для Данте, божественная свобода – любовь:

Amor che muove il sole l'attre stelle.

Любовь, что движет солнце и другие звезды.

Кажется иногда (но только иногда, а иногда совсем другое кажется, и в этом чередовании двух лиц, двух душ, – главный соблазн его и наш, его и наша мука), кажется иногда, что Леонардо – человек не только религиозный вообще, но и христианин. «Был Моисей кротчайшим из людей на земле», сказано в Библии; это можно бы сказать и о Леонардо опять-таки иногда – не всегда. Он не позволяет, чтобы причиняли какое-либо зло не только людям, но и животным, и даже растениям. С юных лет не ест мяса и говорит, что придет время, когда все люди, подобно ему, будут довольствоваться растительной пищей, полагая убийство животных столь же преступным, как убийство человека. Кажется иногда, что Леонардо похож на св. Франциска Ассизского, друга всех живых тварей, который называет ветер «братом», воду – «сестрой» и землю «матерью».

Есть в его христианстве огненная точка, особенно близкая нам сейчас, особенно жгущая наше сердце: ненависть его, презрение, отвращение к войне – «самому зверскому, из всех безумий», *pazzla bestialissima*. Кажется, более точного слова о войне и более для нее убийственного, никогда не было и не будет сказано. О, если бы мы его услышали!

Винчьевская фреска «Битва при Ангиари» на стене зала della Signoria в том самом Palazzo Vecchio, я сейчас говорю, – бесследно для нас погибшая, судя по единственному, уцелевшему рисунку и по отзывам современников, – одно из его величайших созданий, может быть, почти равное Тайной Вечере.

Это – Война, уже наша война, во всем своем ужасе, бессмысленная бойня, «самое зверское из всех безумий», которая «не оставляет, по выражению Леонардо, ни одного ровного места на земле, где бы не было следов, наполненных кровью». Все о ней, о Войне, конечно, думает он, когда говорит: «Да, воистину, человек есть царь животных, или, лучше сказать, царь зверей, потому что зверство его величайшее». Думает о Войне, когда говорит и это, в надписи, рядом с анатомическим рисунком: «И ты человек созерцающий в этих рисунках дивные создания природы, подумай, что телесное строение, кажущееся тебе таким совершенным, ничто в сравнении с душою, обитающей в этом строении, ибо она, чем бы ни была, есть нечто божественное... Не мешай же ей обитать в созданном ею теле, и пусть коварство твое или злоба не разрушают этой жизни, столь прекрасной, что воистину, кто ее не ценит, тот ее не стоит».

О, если бы все люди чувствовали так! Мы не были бы там, где сейчас, может быть, накануне второй всемирной войны, второй Атлантиды, более страшной, чем первая, – уже не огненно-водной, а кроваво-огненной.

Но все это только одно из двух лиц, одна из двух душ Леонардо, и, может быть, наших:

Ах! две души живут в моей груди..
Есть у него – у нас – и другая душа. Вот она.

Когда Леонардо, в 1482 году, покидая Флоренцию, отправляется в Милан, он пишет тамошнему герцогу, Людовико Моро, предлагая ему свои военные изобретения: новый способ разрушать, без помощи пушек, всякую крепость; подземные ходы и подкопы, пролагаемые бесшумно и быстро; огромные пушки нового, «весьма полезного и прекрасного устройства»; исполинские метательные снаряды и другие орудия «действия изумительного», – не предки ли уже наших дальнобойных орудий? никому неизвестные взрывчатые составы, – не предки ли наших удушливых газов?

В «Атлантическом кодексе» находится рисунок боевой колесницы с громадными стальными косами, что-то вроде наших танков, но более страшное, потому что танк все-таки мертвое, а это – как бы живое чудовище. Глядя на него, легко себе представить, как оно действует на поле сражения: на всем скаку врывается во вражье войско; огромные стальные серпообразные, острые, как бритвы, лезвия, подобные лапам исполинского паука, вращаясь в воздухе, разбрасывая клочья мяса и брызги крови, рассекают людей пополам; кругом валяются отрезанные ноги, руки, головы, разрубленные туловища.

В том же Кодексе находится другой рисунок: на дворе арсенала рой нагих рабочих, похожих на демонов, подымает огромную пушку с грознозияющим жерлом, напрягая могучие мышцы, с невероятным усилием цепляясь, упираясь ногами и руками в рычаги исполинского ворота, соединенного канатами с подъемной машиной; другие подкатывают ось на двух колесах. Ужасом веет от этих висящих гроздий голых тел: это кажется оружейной палатой дьяволов, кузницей ада или заводом Круппа.

Кто же он сам – пророк вечного мира или вечной войны? И кто для него Первый Двигатель – Бог любви или тот стальной паук с окровавленными лапами? Что для него последняя сущность мира – любовь или ненависть, Бог или дьявол, или ни то, ни другое, а – страшно сказать – ничто?

В твоём «ничто» я все найти надеюсь, – не мог ли бы и он ответить, как Гете-Фауст отвечает своему двойнику, Мефистофелю?

«Верить ли ты в Бога?» – спрашивает Гретхен Фауста, и тот отвечает ей

Мережковский Д. Лица filosoff.org
надвое: «Кто посмел бы сказать: „верю или не верю?“. Называй Его как хочешь... У меня нет для Него имени. Имя – звук пустой».

А имя Христа тоже «звук пустой»?

Ты – не христианин, –
решает Гретхен о Фаусте; кажется, так же могла бы она решить о самом Гете;
так же могли бы и мы решить о Леонардо.

В конце книги моей, ученик Леонардо, Джованни Бельтраффио, рассказывает
ему о двойнике его, явившемся ему, Бельтраффио, в горячечном бреду:

«– Он говорил мне, будто бы все в мире – одна механика; все – как этот
страшный стальной паук, с вертящимися лапами, который вы изобрели... И еще
говорил он, будто бы то самое, что люди называют „Богом“, есть вечная сила,
которую движется тот страшный Паук, и что Ему все равно, ложь или истина,
зло или добро, жизнь или смерть; и нельзя Его умолить, потому что Он – как
математика: дважды два не может быть пять. Он говорил, что и Христос
напрасно пришел – умер и не воскрес, истлел в гробу. И когда он это сказал,
я заплакал. И он меня пожалел и сказал: „Не плачь, мальчик мой бедный, нет
Христа, но есть любовь, великая любовь – дочь великого познания: кто знает
все, тот любит все. Прежде была любовь от слабости, чуда и незнания, а
теперь – от силы, истины и познания, ибо Змий не солгал: вкусите от Древа
познания, и будете, как боги“».

Верь только этому древнему слову и
бабушке моей, Змее,
И когда-нибудь сам богоподобья
своего испугаешься,
не мог ли бы прибавить к словам двойника Леонарда Фаустов, а может быть, и
Гетев двойник, Мефистофель?

Все это и значит: существо мира для Леонардо – ни зло, ни добро, ни Бог, ни
дьявол, ни свет, ни тьма, а что-то между ними среднее, мерцающее,
двойственное, подобное той «светотени» *chiaroscuro*, которую он так любил,
которой так соблазнился и других соблазнял.

«Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих» (Иак. 1, 8) –
этим словом Писания лучше всего объясняются судьбы двух ангелов или демонов
европейской культуры, Винчи и Гете. Есть для них и у Данте слово глубины
неисследимой:

Ангелы, которые не были мятежны
Ни покорны Богу, но были сами за себя.
*Angeli che non furono ribelli,
Ne pur fedeli a Dio, ma per se foro.*

В то время, как сатана боролся с Богом, среди Ангелов были такие, которые,
не желая примкнуть ни к Богу, ни к дьяволу, остались чуждыми Тому и
другому, одинокими зрителями поединка; свободные и печальные духи, ни злые,
ни добрые, ни темные, ни светлые, причастные злу и добру, тени и свету,
изгнаны были Верховным Правосудием в земную долину, среднюю между небом и
адам, в долину сумерек, той «светотени», *chiaroscuro*, которую так любил
Леонардо.

Кажется иногда, что оба титана европейской культуры, Винчи и Гете, – такие
сумеречные ангелы, не сделавшие выбора между Богом и дьяволом. А может
быть, и мы все такие же?

«Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или
горяч! Но, так как ты тепл... извергну тебя из уст моих» (Откр. III, 15–16).

Всем созерцающим, не делающим выбора, казнь – неутолимая жажда и
невозможность действия, неугасимый внутреннего ада огонь.

«Отче Аврааме! умилились надо мною и пошли Лазаря, чтоб омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»
(Лк. 16, 25).

Чтобы понять эту казнь, стоит лишь сравнить Леонардо с Колумбом: мало знал,
много верил, и сколько сделал этот: а тот много знал, верил мало и
сравнительно с тем, что мог бы сделать, почти ничего не сделал.

Смерть Леонардо описана мною слабо, грубо и нечестиво. Ангельского хора над погибающим Фаустом и уж, конечно, над Леонардо я не услышал.

Кто вечно трудится, стремясь,
Того спасти мы можем.
wer immer strebend sich bemüht,
Der können wir erlösen.

Я не понял, что Винчи и Данте – два брата, два сына одной святой земли, Италии, и что брат братом будет спасен, Винчи спасен будет Данте.

Но, может быть, я верно угадал одно: мучившее Леонардо всю жизнь и перед смертью окончательно овладевшее им сознание бессилья.

Однажды, отперев большой сундук, стоявший в углу мастерской, он начал рыться в кипах бумаг, тетрадей и бесчисленных отдельных листков, с чертежами машин и отрывочными заметками из двухсот сочиненных им книг о природе. Всю жизнь собирался он привести в порядок этот хаос, связать общей мыслью эти отрывки, соединить их в одно стройное целое, в одну Великую «Книгу о Мире»; но все откладывал. А теперь было уже поздно. Он знал, что все погибнет так же бесплодно, так же бессмысленно, как Тайная Вечеря, памятник Сфорцы, «Битва при Ангиари», потому что и в науке он только желал бескрылым желаньем, только начинал и не оканчивал, ничего не сделал и не сделает, как будто насмешливый рок наказывал его за безмерность желаний ничтожеством действия. Он предвидел, что люди будут искать того, что он уже нашел, открывать то, что он уже открыл; пойдут его путем, по следам его, но мимо него, забыв о нем, как будто его вовсе не было. Он понял проклятье бессилья, тяготевшее над всей его жизнью.

«А крылья? – подумал он. – Возможно ли, чтобы и это погибло, как все, что я сделал?»

Да, и это для него погибло, а может быть, погибнет и для нас. Мечта Леонардо: «мы будем, как боги», – в наших крыльях не исполнилась: человек на летательной машине – такой же раб тяжести, механики, смерти, такой же пресмыкающийся червь, каким был всегда. Нового Икара, может быть, постигнет такая же смешная и страшная участь, как древнего. Внешние крылья, без внутренних, – не крылья, а цепи. Это понял Гете-Фауст, тоже мечтавший о чуде полета:

С плотскими крыльями соединить
Крылья духа, увы, не так-то легко!
Ach! zu des Geistes Flügel wird so leicht
kein körperlicher Flügel sich gesellen.

Это можно бы сказать о всей европейской «высокой культуре»: внешняя культура без внутренней, как тело без духа, – мертва.

Может быть, здесь, в Италии, земле Возрождения, не только языческого, но и христианского, как нигде в мире; здесь во Флоренции, городе не только Винчи, но и Данте, как нигде в Италии, услышан будет мой вопрос: что из чего, религия из культуры, или культура из религии? что над чем, культура над религией, или религия над культурой? В первом случае, я был прав, тридцать лет назад, а теперь ошибаюсь: все благополучнее, чем это мне кажется; нынешний духовный кризис легко разрешим. Во втором случае, тогдашняя роковая ошибка моя и очень многих сейчас – смешение культуры с религией, пепла с огнем: мы думали, что можно греться у пепла, когда огонь уже потух в очаге; но вот, сидя у огромной кучи пепла, мы замерзаем.

«Издали увидев смоковницу, покрытую листьями, Он пошел к ней, не найдет ли чего на ней; но, пришедши к ней, не нашел ничего, кроме листьев... И сказал ей Иисус: да не будет впредь от тебя плода во век! И смоковница тотчас засохла» (Мк. 11, 13–14; Мт. 21, 19).

Как бы ни случилось того же и со всей европейской культурой: сколько листьев – святых слов, святых созерцаний, и ни одного плода – святого дела!

Здесь же в Италии, во Флоренции, может быть, услышан и другой вопрос: кто истинный, не слепой, а зрячий, вождь ее и мира, – Гете-Винчи, или все еще Данте? Требовать от людей XX века, чтобы они вернулись к «Сумме Теологии» Фомы Аквинского, философскому остоу «Божественной Комедии», так же нелепо, как предлагать взрослому, вместо одежды, пеленки. Мыслить, как Данте, мы уже сейчас не можем, но все еще можем хотеть, чего и он хотел, – чтобы

Мережковский Д. Лица filosoff.org

«камень, пренебреженный жидущими, сделался главою угла» и чтобы мир узнал, что «нет ни в ком ином спасении, кроме Иисуса Назаря, ибо нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. Апост. 4, 11-12).

Имени Его не знают или не хотят знать, Винчи и Гете; Данте знает, и мы могли бы от него узнать. Могли бы, но не хотим. Имя Его мы забыли. Кто, в самом деле помнит, что значит «Иисус есть Христос, Царь»; «христианство есть царство Божие»?

В церкви имя Христа легко произнести, но там оно произносится так, что мир его уже не слышит и им не спасается. Церковь все дальше уходит от мира, и мир – от церкви. Здесь, в миру, имя Христа произнести очень трудно, даже почти невозможно, потому что дети мира сего, люди европейской «высокой культуры», подобно вождям своим, Винчи и Гете, или не хотят знать этого имени, или, хуже того, зная, равнодушны к нему, ни холодны, ни горячи, а теплы, каких обещал извергнуть из уст Своих Господь.

Но есть одна страна, где воздвигнуто сейчас такое гонение на имя Христа, какого, может быть, нигде никогда еще не было; где люди страдают за Него, как, может быть, никто никогда еще не страдал. Там надо быть горячим или холодным, нельзя быть теплым: надо сделать выбор между Богом и дьяволом; там Христос уже не только в церкви, но и в миру.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Сейчас Россия молчит, погребенная заживо; но, когда встанет из гроба, освободится, то произнесет имя Христа, может быть, так, что его услышит мир.

Очень глубокое и верное слово о нынешнем духовном кризисе бывшей христианской Европы сказано недавно в России одному празднично-любопытствующему европейцу, – вы не поверите кем: красным самодержцем, Сталиным. Вот оно, это слово: «Только Христос отделяет нас, русских коммунистов, от мировой революции». Что это действительно так, знают в России все, кому нужно знать, а здесь, в Европе, почти никто не знает. О, если бы узнали и здесь, может быть, спаслась бы Европа!

Будем помнить одно: тщетно простирали бы мы руки, на краю гибели, к нашим слепым вождям, скованным титанам, Винчи и Гете: они нас не спасли бы, да и нет, вообще, спасителей, кроме Одного, Того, кто говорит всем гибнущим, а нам, может быть, более, чем кому-либо, за две тысячи лет христианства: «Без Меня не можете делать ничего» (Ио. 15, 15).

Очень бы мне не хотелось сообщать в конце беседы, слишком кратким и потому, может быть, темным, словом, главнейший опыт русского безымянного ужаса. Но я все-таки вынужден это сделать, чтобы не быть совсем непонятым или, хуже того, понятым ложно.

Плод горчайший того, что здесь, в Европе, все еще так легкомысленно и невежественно называется «русской социальной революцией», – такое рабство, какое не снилось не только вам, европейцам, но, вероятно, и древним Египтянам эпохи Пирамид.

Люди свободной Европы, да, несмотря на все мнимые или действительные ужасы капитализма, милитаризма и проч. и проч., люди свободной Европы! если вы не хотите быть рабами, вспомните Того, кто сказал и все еще говорит всем рабам и, может быть, нам, в канун грядущего рабства, больше, чем кому-либо за две тысячи лет христианства:

«Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ио. 8, 32; 36).

Поняли ли бы это слово те два титана, не внешними, а внутренними, тягчайшими цепями скованных, Винчи и Гете, – я не знаю; но знаю, что понял бы третий, может быть, больший титан, вечный за свободу изгнанник, всех за нее гонимых, а значит, и мой покровитель, Данте, любивший не меньше свободы только одну Беатриче; Данте, который, может быть, сам того не зная, любил больше всего Христа Освободителя, скажу тайное слово о тайном, Христа Мятельника, «Всесветного Возмутителя», как уже сказали однажды и, может

Мережковский Д. Лица filosoff.org
быть, снова когда-нибудь скажут об Его учениках (Деян. Апост. 17, 6).

Здесь, в Италии, как нигде в мире, здесь, во Флоренции, как нигде в Италии, я могу сказать и надеяться быть услышанным: пойдём за Данте к единственному, от грядущего рабства, Освободителю.

Вот для этого я и пришел сюда к вам. Может быть, теперь вы поймете, почему мне было так трудно прийти, печальному, темному, на светлый праздник ваш, и почему я все-таки пришел; может быть, вы поймете и то, почему первая книга моя – «Юлиан Отступник», а последняя, та, которую я сейчас пишу, после «Атлантиды-Европы», – «Иисус Неизвестный».

ГОГОЛЬ И РОССИЯ[11]

«Соотечественники, страшно!» – закричал Гоголь на всю Россию. Чего он так испугался, мы теперь знаем.

Два предостережения даны были России: «Мертвые души» Гоголя и «Бесы» Достоевского. Первое, хоть и менее точное, грознее, чем второе: Достоевский все-таки жил и умер с надеждой, что Россия спасется; Гоголь жил в страхе и умер от страха, что Россия погибнет.

«Русь, куда несешься ты?» Он уже знал куда, – в пропасть.

«Бесы» – те же «Мертвые души» – «дряхлые страшилища с печальными лицами», «дети непросвещения, русские уроды, взятые из нашей же земли»; призрачные, но «из того же тела, как мы»; сами же мы, искаженные в дьявольском зеркале.

«Боже, как грустна наша Россия!» – воскликнул Пушкин, когда Гоголь прочел ему первые главы «Мертвых душ». Как Россия страшна, – этого Пушкин еще не знал, но уже знал Гоголь. Вот отчего и закричал на всю Россию: «Соотечественники, страшно! Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли... не прозревая, какие страшилища от них подымутся».

Но если он надеялся, что, «хоть одна живая душа в России», услышит его, то надежда эта исчезла у него после «Переписки с друзьями».

Как бы мы ни судили об этой книге, одно несомненно: в ней весь Гоголь, – не то, чем желали бы его видеть друзья или враги, а то, чем он действительно был.

Гоголь давно знал, что он один, но только после «Переписки» понял весь ужас своего одиночества.

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, что вы делаете? – писал ему Белинский. – Христа-то вы зачем примешали тут?.. Или вы больны или... не смею досказать своей мысли» (это значит: «или вы мерзавец»).

Крайние правые соглашались с крайними левыми, в суде над Гоголем. «Все это ложь, дичь и нелепость... и сделает Гоголя посмешищем всей России», – предсказывает Сергей Аксаков, и объявляет приговор общественного мнения над Гоголем: «Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим».

«Как же вышло, – недоумевает Гоголь, – что на меня рассердились все до единого в России... восточные, западные, нейтральные – все?»

Все, кроме Церкви: та не «рассердилась», а просто не заметила Гоголя. И это для него было хуже всего, потому что он искал в Церкви последнего убежища.

«Русские люди, я требую от всех вас помощи, как погибающий брат... у братьев своих!» Вот как помогли.

Главная ошибка всех обвинителей Гоголя заключалась в предположении, будто бы, до «Переписки» произошел с ним какой-то «религиозный переворот», тогда как ничего подобного не было: Гоголь и здесь, в «Переписке» шел тем же путем, которым шел всегда, но здесь яснее, чем где-либо, выразилась главная и, можно сказать, единственная мысль всей жизни его: только со Христом спасется Россия, а без Него, погибнет.

«Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге... Что же делать, если наступает такое время, когда невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостойн, и не мое дело, и я не имею права: всякий из нас до единого имеет это право». Вот, в самом деле, неопровергнутое – неопровержимое право и правота Гоголя.

Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным и неисполненным. Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство; они разошлись и с каждым днем, все дальше расходятся.

«И непонятную тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только, в виду всех, исполинский образ скуки, достигая, с каждым днем, неизмеримейшего роста». Трудно поверить, что это сказано в 40-х годах прошлого века, а не в 30-х – настоящего.

Положение России, предостерегает Гоголь, ничем не лучше положения Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней всех. Хуже мы всех прочих – вот что мы должны всегда говорить о себе». – «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились мысли ваши, и вы подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать?.. Европе пришлось еще труднее, чем России. Разница в том, что там этого еще никто не видит». Трудно поверить, что и это сказано не в наши дни.

Здесь Гоголь видит дальше Достоевского: тот надеялся, что в общей мировой катастрофе уцелеет и спасет Европу одна Россия.

Ужас надвигающейся гибели предчувствовал Гоголь, как никто, и в чем спасение, знал тоже, как никто. Только в христианстве заключена «возможность примирения тех противоречий, которых не в силах примирить человечество, помимо Христа». – «Только Церковь может разрешить все узлы недоумения и вопросы наши».

Церковь Восточную противопоставляет Гоголь Церкви Западной; но ведь он только что сказал, что Россия «не лучше, а хуже всех прочих» христианских народов; что христианство в России еще меньше вошло в жизнь, чем в Европе. Выход из этого противоречия один: Гоголь говоря о Церкви настоящей, Восточной, в действительности, разумеет или предчувствует будущую Вселенскую Церковь. В этом смысле прав Аксаков: Гоголь в религиозных исканиях своих пытался разрешить задачу «исполински-страшную», которой «не разрешили все 1847 лет христианства».

«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит, какое-то большое самопожертвование», – вспоминает Гоголь. В мученической смерти его совершилось действительно великое «самопожертвование»: Гоголь умер за Россию. Но русские люди не приняли и не поняли этой жертвы: сначала перешагнули через мертвое тело Гоголя, а потом – и через мертвое тело России.

«Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощении грехов моих, хочется молиться о спасении России?» – пишет Гоголь перед отъездом в Иерусалим, и посылает друзьям молитву о себе:

Боже, дай ему силу помолиться
у Гроба Святого... о всех людях
земли нашей, о мирном для нее
времени... о воцарении в ней
Царствия Твоего!

В наши дни, когда все неслышанные предостережения Гоголя так страшно исполнились, хочется верить, что он молится у престола Господня этой молитвой о спасении России.

«Будьте не мертвые, а живые души» – предсмертный завет Гоголя русским людям. Что же делать, чтобы исполнить этот завет? Одни говорят: «Нельзя быть живым, не отрекшись от Христа»; а другие: «Нельзя быть со Христом, не отрекшись от жизни». Гоголь верил, что жизнь будет во Христе и Христос

будет в жизни. К этому он и звал Россию, но никто его не услышал, может быть, потому, что тогда еще не исполнились времена и сроки. Неужели и теперь не исполнились и мы еще не поняли, что Россия спасется только тогда, когда скажет вместе с Гоголем: «Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом»?

ВСТРЕЧА С МУССОЛИНИ ИЗ КНИГИ О ДАНТЕ [12]

...Мировое значение Данте предчувствует, кажется, только один человек в мире – Муссолини. Я это понял уже во время первой нашей беседы, года два тому назад, когда начал готовить книгу о Данте. Нынешней весной я видел Муссолини снова, и он после беседы позволил мне задать ему письменно несколько вопросов о Данте – «не слишком много и не слишком трудных», – как он сказал на прощанье, с той обаятельно-простой улыбкой, которая, точно чудом, устанавливает равенство между ним и собеседником, кто бы он ни был.

В самый канун знаменательных римских дней (объявление империи) я написал и послал Муссолини три вопроса: первый о том, какая борьба с коммунизмом (а следовательно, и с русским большевизмом) возможна, – национальная или только всемирная; второй – о возможной будущей всемирной войне или мире (что значит основанная им «Римская Империя», – вечный мир или вечная война?); третий – о возможном соединении Государства с Церковью, «Орла» с «Крестом», Aquila и Croce, по Дантовой символике (что значит заключенный им «Конкордат» с Ватиканом?). Все эти три вопроса оказались, увы! и для такого человека, как Муссолини, «слишком трудными».

Что мне ответил на них Муссолини?

Помнится, уже и тогда, когда я писал мои вопросы, я смутно чувствовал, что ему будет не легко на них ответить; потому, что они относятся не к тому порядку бытия, в котором движется он.

Муссолини все-таки ответил мне, но так, что я не знаю, можно ли сказать и должно ли говорить, как он ответил. Все же попробую: для того, что я хотел бы сказать о Данте, слишком значителен ответ Муссолини, чтоб я мог умолчать о нем вовсе.

Если верно, что, вообще, слова человека неотделимы от него самого и что нельзя понять сказанного, не зная, кто говорит, то для такого человека, как Муссолини, это вернее, чем для кого бы то ни было. Надо это помнить, чтобы понять ответ его как следует. Помнить надо и то, что, вероятно, испытал не я один, а испытывают более или менее все, кто впервые видят его, лицом к лицу, и что почти невозможно выразить словами, – так это непохоже на чувства, внушаемые людям другими людьми. Это не страх, а смутное беспокойство, та неизъяснимая тяжесть, жуткость, которую испытывают люди, подходя к тому, к чему не должно людям подходить, и заглядывая туда, куда не должно им заглядывать. Если бы чувство это довести до конца, то получилось бы, может быть, нечто подобное тому, что испытал Фауст, когда ему явился Дух Земли:

Фауст
(отворачиваясь)
Ужасное лицо!

Дух
Привлек меня к себе ты чудной силой,
К моей стихии жадно припадая, –
И вот, теперь...

Фауст
О, горе! не могу Тебя я вынести!

.....
Но это первое впечатление от Муссолини, – начало нездешнего ужаса перед Духом Земли, – было у меня только мгновенным и сменилось удивлением или, точнее, тремя удивлениями. Первое: он прост, как все первозданное, – земля, вода, воздух, огонь, как жизнь и смерть. Второе удивление, большее: он добр и хочет сделать добро всем, кто в этом нуждается, а тому, кто с ним сейчас – больше всех. Он для меня близкий и родной, как на далекой чужбине, после долгой разлуки, нечаянно встреченный и узнанный, – брат.

Третье удивление величайшее, но я о нем скажу потом, а сначала попробую сказать, как он мне ответил.

Выставил нижнюю челюсть вперед (совсем как Данте, подумал я и вспомнил Боккачио: «Челюсти у него были большие, и нижняя выдавалась вперед»; в этих двух лицах, даже по геометрическому строению противоположнейших, – узком и остром у Данте, где все вертикально, вглубь и ввысь, к пропастям и вершинам земли бесплодным; в круглом и широком, у Муссолини, где все горизонтально, вширь и вдаль, по равнинам земли, плодороднейшим, – в этих двух противоположнейших лицах эта черта, выставленная вперед нижняя челюсть, знак неукротимой воли, – общая); выпучил большие-большие глаза, совсем как у Данте, подумал я и опять вспомнил Боккачио: «Глаза у него были большие, *gli occhi... grossi*»; и эта черта – огромные, широко на все открытые, всепожирающие глаза, – ясновидения знак – тоже в этих двух противоположнейших лицах, – общая. (Кто видел эти глаза, и на кого глянул из них, ужаснув и обрадовав, Дух Земли, – тот их никогда не забудет); выпучил большие-большие глаза, и как будто тихим, глубоким, издали доносящимся, а на самом деле громким, всю исполинскую, пустую залу Венецианского дворца наполняющим, голосом проговорил:

– Я не могу вам ничего ответить на ваши вопросы...

И замолчал, отвернувшись от меня с таким видом, как будто беседа наша кончена и я могу уходить. Чтобы этого не делать, я спросил:

– Почему не можете?

– Потому что на вопросы Данте не мне отвечать.

«Понял-таки главное, что вопросы не мои, а его, Данте», подумал я радостно и почувствовал, что чем бы ни кончилась наша беседа, я что-то сделал и что-то узнал о Данте, чего нельзя было узнать иначе. И когда под гулками сводами этой огромной, пустой палаты древнего дворца, почти современника Дантовых дней, замер последний звук говорившего со мной голоса и наступила такая тишина, какая бывает только в пустом поле, в глухом лесу или на вершинах гор, – вдруг почудилось мне, что между нами двумя присутствует Третий и смотрит из этих, прямо на меня уставленных, глаз, говорит со мною этим глухим, как бы из подземных глубин доносящимся, голосом.

– Я знаю, кто Он и кто я. Там, где Он говорит, – я молчу. «Данте и Муссолини» – под этим заглавием кто-то что-то хотел прочесть недавно, здесь, в Риме; но я не позволил, потому что не хочу быть смешным. Можно ли сравнивать такого, как Данте, с таким, как я, – говорить о них рядом? Он был, есть и будет, а я...

Не кончил, опять замолчал, и на этот раз так, что никакие, казалось, силы в мире не сдвинут его с этого молчания. Вдруг маленькая злая мысль мелькнула у меня в уме: «Нет, может ответить, но не хочет; прячет камертон прямых ответов на прямые вопросы, уклоняется, по привычке всех политиков; думает, что „казаться“ важнее, чем „быть“; вечный на сцене, актер под бесчисленными масками, и одна из них – это молчание...».

Но пристальней взглядевшись в прямо уставленные на меня глаза, такие правдивые, как только у самых маленьких детей, или еще, иногда у зверей, и, может быть, всегда у богов, – пристальней взглядевшись в эти глаза, я увидел несомненно – как если бы в свою собственную душу взгляделся, – что он сказал мне правду; и что, не отвечая на вопросы, он ответил так, как только и можно было ответить, – не в том порядке, где я их ставил и где мысль предшествует действию, а в другом порядке, – его, где мысль и действие одновременны, как молниеносный блеск и удар. И увидев это, я почувствовал после двух удивлений, – первого, великого: прост, и второго, большого: добр – третье, величайшее: смиренен.

Люди так называемых «высших образованных слоев», от земли оторванные, отвлеченные, злые и гордые, этому никогда не поверят; но люди, все ей близкие и верные земле, те, кто назвали Бенито Муссолини «Вождем», знают или чувствуют, что это воистину так он смиренен. Кто ниже всего, что есть в мире, и всего смиреннее? Та, кто рождает и кормит всех живых и заключает всех умерших в лоно свое, чтобы снова родить – воскресить: великая Мать Земли. И матери подобен сын – Дух Земли: он велик и смиренен: и его дыхание в обоих – в Данте и в Муссолини.

Что такое смирение, знает, может быть, лучше всех людей, самый гордый из них, Данте. Явное лицо его – гордыня, тайное – смирение. Вся его любовь к

Мережковский Д. Лица filosoff.org
Беатриче есть не что иное, как воля к смирению.

«Эта благороднейшая дама так была любезна всем, что, когда проходила по улице, люди сбегались, чтобы увидеть ее; и, когда приближалась к кому-либо, то в сердце рождалось такое благоговение, что он не смел ни поднять глаза на нее, ни ответить на приветствие. Но, не славясь тем, что видела и слышала, шла она, венчанная и облеченная смирением».

Так прошла она по земле и когда
покинула землю –
Дал ей Всевышний воссесть
На небе смирения, там, где Мария.
И гордого Данте вознесла она из ада гордыни к себе, в это небо.

То, что людям явил на небе Дух Земли, воплощенный в Данте, являет им на земле тот же Дух – в Муссолини: бесконечную силу смирения.

– Что я могу для вас сделать? – спросил он меня в конце беседы. Я сказал, и он сделал, и, может быть, это был тоже безмолвный ответ на мои вопросы о Данте. Я знаю, никогда, ни за что нельзя, и не надо, благодарить словами, но все же не могу не сказать, – потому что это слишком для меня радостно: кроме тех, чьих имен не называю, потому что они мне слишком святы, – никто, никогда, во всю мою жизнь, не был ко мне добрее, чем он.

Что сделал для меня Муссолини? Эту чужую землю – Италию – он сделал мне почти родною; горький хлеб чужой, – почти сладким; крутые чужие лестницы – почти отлогими. Почти, – не совсем, потому что сделать чужое совсем родным не может никакая сила в мире, а если б и могла, этого не захотел бы тот, для кого неутолимая тоска изгнания – последняя родина.

– Может быть, мое единственное право писать о Данте есть то, что я – такой же изгнанник, осужденный на смерть в родной земле, как он, – сказал я Муссолини на прощанье.

– Да, это в самом деле ваше право, и кое-чего оно стоит: кто этого не испытал на себе, тот никогда ничего не поймет в Данте, – ответил он мне, и я почувствовал, что он все еще помнит и никогда не забудет, что значит быть нищим, бездомным и презренным всеми, осужденным в родной земле на смерть изгнанником.

– Я надеюсь, что книга моя будет не совсем недостойной того, что я узнал от вас о Данте, – пробормотал я, не зная, как благодарить.

– А я не надеюсь, – я знаю, что ваша книга будет...

Не повторяю его последних слов: я их не заслужил. Но если моя книга будет чего-нибудь стоить, то этим она будет обязана тому, что не словами, а делом ответил мне Муссолини на мои вопросы о Данте и что, может быть, ответит миру.

МУДРОСТЬ ПУШКИНА [13]

Смерть Пушкина – не простая случайность. Драма с женою, очаровательною Натали, и ее милыми родственниками – не что иное, как в усиленном виде драма всей его жизни: борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только довершила то, к чему постепенно и неминуемо вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению, возвращаясь к сердцу народа, все более отрывался он от так называемого «интеллигентного» общества, становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен, казался «кромешником», как он сам себя называл с горькою иронией. Кто знает? – если бы не защита Николая I, может быть, судьба его была бы еще более печальной. Во всяком случае, преждевременная гибель – только последнее звено роковой цепи, начало которой надо искать гораздо глубже, в первой молодости поэта.

Когда читаешь жизнеописание Гете, убеждаешься, что подобное творчество есть взаимодействие народа и гения. Здесь сказалась возвышенная черта германского народа: умение чтить великого, лелеять и беречь его, уравнивать ему все пути. Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гете, Шекспиром,

Данте, Гомером – места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горестной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина.

Политические увлечения его были поверхностны. Впоследствии он искренно калялся в них, как в заблуждениях молодости. В самом деле, Пушкин менее всего был рожден политическим бойцом и проповедником. Он дорожил свободой, как внутренней стихией, необходимою для развития гения. Тем не менее, в страшных, испытанных им гонениях поэт имел случай познать меру того варварства, с которым ему суждено было бороться.

Из первой борьбы с русским варварством поэт вышел победителем. В романтических скитаниях по степям Бессарабии, по Кавказу и Тавриде находит он новые неведомые звуки на своей лире. Теперь он чувствует жажду беспредельной внутренней свободы, которую противопоставляет пустоте и ничтожеству всех внешних политических форм:

Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними!.. Никому
Отчета не давать: себе лишь самому
Служить и угождать...

Потребность этой «высшей свободы» привела Пушкина ко второму столкновению с русским варварством, менее страстному и бурному, чем его политические увлечения, но более глубокому и безысходному – столкновению, которое было главною внутреннею причиною его преждевременной гибели. Многозначительны в устах Пушкина следующие слова, даже если они вырвались в минуту необдуманного раздражения: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» (Письмо к Вяземскому из Пскова, 1826).

Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собственный дом в лице родственников жены. У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы усладить долю петербургского чиновника тридцатых годов. Пушкин чувствовал, что приближается к развязке, к последнему действию трагедии.

«Натали неохотно читает все, что он пишет, – замечает А. О. Смирнова, – семья ее так мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как государь сделал его историографом Империи и в особенности камер-юнкером. Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру (Пушкина) скрежетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены: „Наконец-то вы, как все! У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как государь к вам благоволит“».

Незадолго перед смертью он говорил Смирновой, собиравшейся за границу: «Увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее, как вчера он советовал мне поговорить с государем, сообщить о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но все семейство поднимет гвалт. Я смотрю на Неву и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход... Если бы я это сделал, что бы сказали? Сказали бы: он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется уехать очень, очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. Впрочем, у меня есть предчувствия, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери, я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней».

19 октября 1836 года, придя на свой последний лицейский праздник, Пушкин извинился, что не докончил обычного годового стихотворения, и сам начал читать его:

Была пора: наш праздник молодой...

Но не дочитал – слезы полились из глаз его, и стихи были дочитаны одним из товарищей. Те, кто могут себе представить его необычайную бодрость, ясность духа, никогда не изменяющую ему жизнерадостность, должны понять, что значат эти предсмертные слезы Пушкина.

Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и сладость, и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры – причина недовренности пушкинской поэзии – в то же

время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта, в известном отношении, единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность – простота...

Высокая степень культуры может быть опасной для источников поэтического чувства, удаляя нас от того ночного, бессознательного и непроизвольного, во что погружены, чем питаются корни всякого творчества. Музы любят утренние сумерки, подстерегают первое пробуждение народов к сознательной жизни. Для возникновения великого искусства необходима некоторая свежесть и первобытность впечатлений, молодость, даже детскость народного гения.

Пушкин – поэт такого народа, только что проснувшегося от варварства, но уже чуткого, жадного ко всем формам культуры, несомненно предназначенного к участию в мировой жизни духа.

Гете чувствовал потребность освободиться от всех искажающих призм, от тысячелетней пыли человеческой культуры, вернуться к первобытной ясности созерцания. Вот почему старался он приблизиться к простоте древних греков; конечно, это – чистейшая призма, но все-таки – призма.

Пушкин – единственный из новых мировых поэтов – ясен, как древние эллины, оставаясь сыном своего века. В этом отношении он едва ли не выше Гете, хотя не должно забывать, что Пушкину приходилось сбрасывать с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем германскому поэту.

«Сочинения Пушкина, – говорит Гоголь, – где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух, потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

С такой именно простотою описывает Гомер картины эллинской жизни, также не заботясь о прекрасном – рассказывая, как его герои едят, спят, умываются, как царская дочь Навзикая полощет белье на речке, – и все выходит прекрасным, как из рук Творца.

В поэзии Пушкина и Гомера чувствуется спокойствие природы. Здесь и вдохновение – не восторг, а последнее безмолвие страсти, последняя тишина сердца. Пушкин, как мыслитель, хорошо сознавал эту необходимость спокойствия во всяком творчестве, и эти слова, в которых он противостоит вдохновению восторгу, могут быть, дают ключ к самому сердцу его музыки: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого».

В XIX веке, накануне шопенгауэрского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отречения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное. Он один преодолевает дисгармонию Байрона, достигает самообладания, вдохновения без восторга и веселия в мудрости – этого последнего дара богов.

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!..

.....
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Таким он был и в жизни: простой, веселый, менее всего походивший на сурового проповедника или философа, – этот беспечный арзамасский «Сверчок», «Искра», – маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуты вдохновенья. Таким описывает его Смирнова. Тихие беседы Пушкин любит

обрывать смехом, неожиданною шуткою, эпиграммой. Между двумя разговорами об истории, религии, философии все члены маленького избранного общества веселятся, устраивают импровизированный маскарад, бегают, шалят, смеются, как дети. И самый резвый из них, зачинщик самых веселых школьнических шалостей – Пушкин. Он всех заражает смехом. «В тот вечер, – записывает однажды Смирнова, – Сверчок (т. е. Пушкин) так смеялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что когда будет умирать – для храбрости пошлет за ним».

Пушкин не закрывает глаз на уродство и пошлость обыкновенной жизни, но преодолевает их не брезгливым холодным презрением, подобно Гете, не желчной иронией, подобно Байрону, – а все то же светлую мудростью, вдохновением без восторга, непобедимым веселием:

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я,
Но, так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!

.....
...С ясною душою

Пускаюсь ныне в новый путь

От жизни прошлой отдохнуть.

Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти.

Пушкин говорит о смерти спокойно, как люди, близкие к природе, как древние эллины и те русские мужики, бесстрашию коих Толстой завидует. «Прав судьбы закон. Все благо: бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход».

Среди скорбящих, бьющих себя в грудь, проклинающих, дрожащих перед смертью, как будто из другого мира, из другого века, доносится к нам божественное дыхание пушкинского героизма и веселия:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть.

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Если предвестники будущего Возрождения не обманывают нас, то человеческий дух от старой, плачущей, перейдет к этой новой мудрости, ясности и простоте, завещанным искусству Гете и Пушкиным.

Примечания

1

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 18 июля. № 2. С. 2–3.

2

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 5 октября. № 68. С. 1.

3

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 12 октября. № 74. С. 1.

4

Впервые: Последние новости. 1920. 16 декабря. № 200.

5

Впервые: Руль. 1921. 11 ноября. № 300. С. 4.

6

Впервые: Общее дело. 1922. 7 апреля. № 563. С. 1.

7

Впервые: День русской культуры (Париж). 1926. 8 июня; Последние известия (Ревель). 1926. 20 июня. № 1341.

8

Впервые: Сегодня. 1931. 8 февраля. № 39.

9

Впервые: Возрождение. 1932. 7 апреля. № 2501.

10

Впервые: Возрождение. 1932. 24 и 25 июня. № 2579, 2580.

11

Впервые: Возрождение. 1934. 10 июня. № 3294.

12

Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 13 февраля. № 8.

13

Впервые: Сегодня. 1937. 7 февраля. № 38.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petime.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petime.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!